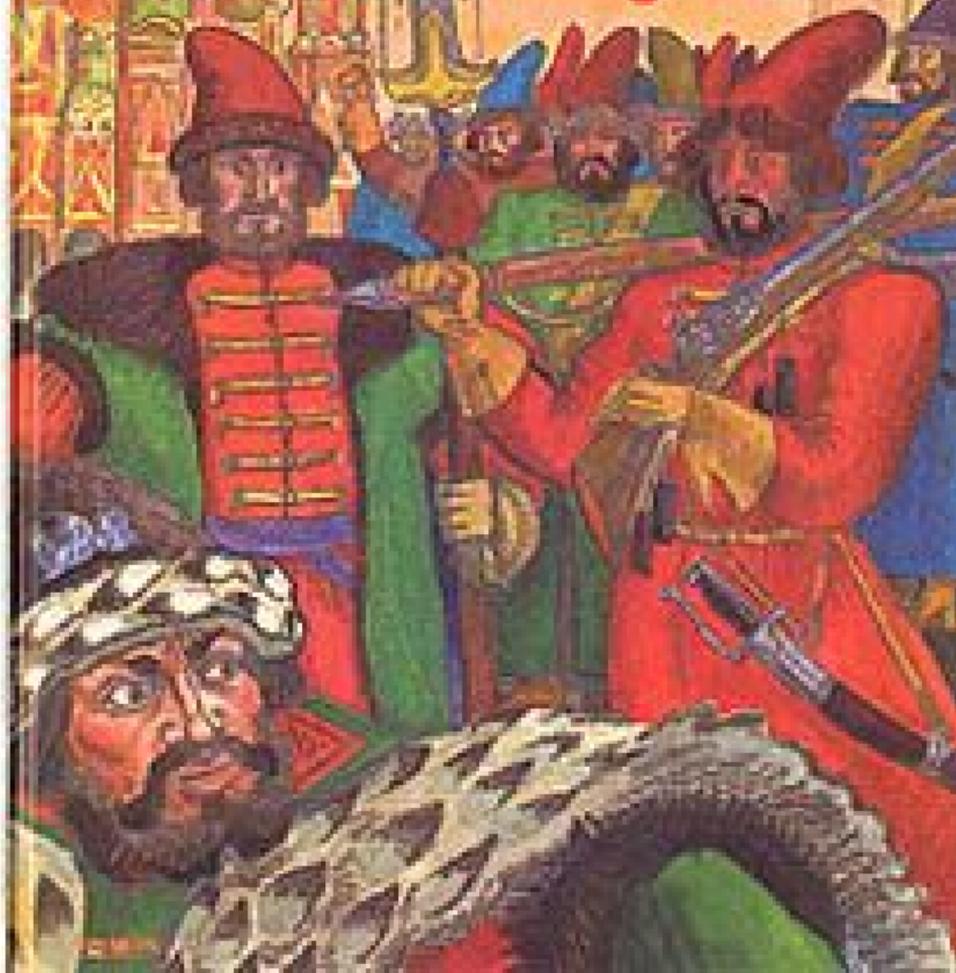


СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

К. Масальский

СТРЕЛЬЦЫ



Константин Петрович Масальский

Осада Углича

Константин Масальский — популярный русский писатель середины XIX века — был широко известен как автор многочисленных исторических романов. Его роман «Стрельцы» воссоздает перед нами события конца XVII и начала XVIII веков, времена Хованщины и стрельческих бунтов, время, когда России предстояло сделать выбор между патриархальной стариной и крутым взлетом петровских реформ. Помимо романа в сборник вошли еще повести — "Осада Углича", "Черный ящик" и "Регентство Бирона". Сочетая увлекательную интригу с достоверностью изображения исторических лет и событий, писатель рисует широкую многофигурную панораму эпохи Петра I. Произведения Масальского написаны живо и увлекательно, в них присутствует почти детективная интрига.

О событиях Смутного времени.

Содержание

I.....	.0004
II.....	.0018
III.....	.0028
IV.....	.0037
V.....	.0044
VI.....	.0057
VII.....	.0065
VIII.....	.0072
IX.....	.0084
X.....	.0093
XI.....	.0107
XII.....	.0121

Версты за две от Углича, за Волгой, возвышается холм, покрытый кустарником и окруженный мелким лесом. После 1611 года он долгое время сохранял название Богоявленной горы, но сейчас и это название исчезло. Без уцелевших страниц старинной летописи никто и не узнал бы, что на этом холме стоял некогда монастырь Богоявления Господня; что деревянную церковь, кельи и ограду превратили в пепел литовцы и что в стенах сожженного монастыря погибли тридцать восемь иноков и более трехсот окрестных жителей, искавших в святой обители спасения от неприятельских мечей.

В прекрасное весеннее утро — в 1610 году — подъехал к ограде Богоявленного монастыря всадник, привязал вороного коня своего к дереву и постучался в дверь кельи игумена Авраамия. Зеленое полукафтанье всадника застегнуто было на груди широкими петлицами из золотых шнурков. Перекинутая через плечо сафьяновая перевязь, вышитая серебром, поддерживала дорогую турецкую саб-

лю. Грусть и задумчивость отображались на прекрасном лице всадника. Глаза его, исполненные жизни и выражения, обличали в нем душу добрую, благородную, мужественную.

Благословив незнакомого пришельца, Авраамий ласково пригласил его войти в келью, сел с ним на деревянную скамью и спросил, что привело его к нему, в уединенное его убежище?

— Привела меня слава твоей святой жизни, твоей мудрости. Не откажи в благодеянии, которое ты можешь мне оказать. Я буду просить у тебя суда.

— Суда?! — спросил удивленный старик. — На кого?

— На собственное мое сердце.

— Я не могу быть судьей, не зная твоего противника.

— В этом мире ты один узнаешь его, отец Авраамий. Перед тобой одним обнаружу все его тайны. О, если бы твои советы, твое посредничество примирили меня с моим противником! Перед тобой — стрелецкий голова Феодосий Алмазов. Покойные родители мои были небогаты, но целую жизнь старались

делать ближним добро. Я был единственный сын их. Наравне со мною они воспитывали Иллариона, мальчика, которого усыновили и спасли от беспомощного сиротства. В последние годы царствования Иоанна Грозного я лишился матери; отец мой, спасаясь от незаслуженной казни, принужден был бежать в Польшу. Там я с Илларионом вступил в училище. Через несколько лет мы вышли оттуда, уже взрослые, в числе первых учеников. Между тем в Польше отец мой призрел еще двух малолетних девочек, которые, по смерти родителей своих, беглецов русских, остались на чужой стороне круглыми сиротами. Когда Евгения и Лидия — так зовут их — подросли, то польский вельможа, покровитель отца моего, взял их в дом к себе и воспитал вместе со своими дочерьми. По окончании воспитания они обе возвратились к отцу моему, который вскоре после этого занемог безнадежно. Умирая, он завещал мне и трем сиротам, им призренным, возвратиться в Россию, возложив на меня заменить его для них, к велел жить всем нам вместе, в дружбе и согласии, как родным. Мы все поклялись исполнить его по-

следную волю. Он, благословив нас, скончался. По возвращении на родину вступил я в стрелецкое войско, и брат мой, Илларион (он моложе меня пятью годами), через несколько лет последовал моему примеру. Счастье нам благоприятствовало. Теперь мне тридцать три года, а я уже стрелецкий голова и начальник Углической крепости. Брат мой — пятисо-тенный моего полка. Мы оба, по совести, можем сказать, что не были последними на полях битвы.

До приезда в Углич я жил в Москве. Там сердце указало мне спутницу жизни. Питая друг к другу любовь чистую, пламенную, мы наконец превозмогли все препятствия, которые долго мешали нашему счастью, и я назвал ее своею. Все говорят, что на земле невозможно найти полного счастья. Нет, это несправедливо, отец Авраамий! Я, я наслаждался этим счастьем! Правда, оно скоро улетело — и навсегда. Она покинула меня, милая, незабвенная Ольга! Скоро ушла она на небо с этой бедной земли. О, как дорого заплатил я за свое счастье! Легче было бы мне, если бы оторвали половину моего сердца, но я не

роптал, я даже не плакал — я не мог плакать. Меня утешала мысль, что я страдаю один, что моя Ольга на небе, где счастье вечно, неизменно, где ее уже не может постигнуть утрата, подобная моей. На языке человеческом нет выражений, чтобы изобразить то, что я чувствовал, когда вокруг гроба ее раздавалось похоронное пение, когда мои запекшиеся уста прильнули к ее холодной щеке, где недавно играл так пленительно румянец жизни, — к ее руке, неподвижной, которой она, угасая и подарив мне исполненный любви прощальный взор, в последний раз пожала мою руку!

Как бы горячо я тогда обнял того, кто мне дал бы хоть одну слезу, которая бы уменьшила страдание сердца! Но я не плакал. Отойдя от гроба, я упал перед образом Богоматери. И вдруг, как светлый ангел посреди мрачных, клубящихся туч, блеснула в растерзанной душе мысль, что Ольга с любовью и состраданием смотрит на меня из другого, высшего мира и молит там бесконечную Благодать ниспослать мне в утешение, — и в тот же миг непостижимая отрада наполнила сердце, и слезы

потекли из глаз моих. Мне даже казалось, что это были, слезы радости.

Возвращался ли ты когда-нибудь, отец Авраамий, с кладбища, похоронив там человека, которого ты любил, который был тебе дороже жизни? И теперь еще душа содрогается при одном воспоминании о чувствованиях, раздиравших сердце, когда я шел к опустевшему дому от могилы, сокрывшей в себе навсегда все мое счастье, все мои радости! Нет, я этого рассказать не в силах. Ты не поймешь моих невыразимых страданий.

Феодосий опустил голову и замолчал.

— Проходят, исчезают, как дым, наши радости, — сказал Авраамий, — но также проходят и страдания. И что вся земная жизнь наша? Она, по словам апостола, пар, на малое время являющийся. Но настанет для нас другая, бесконечная жизнь. Утешься: она уже настала для той, которую ты оплакиваешь!

— Эта мысль всегда утешала меня, — сказал Феодосий, — но столько раз овладевали мной безутешная горечь и отчаяние! Весь мир опротивел мне. Сколько миллионов сердец, часто думал я, бьется теперь на земле, но

все эти сердца не заменят для меня одного утраченного. Из этого сердца изливался источник моего счастья. Смерть оледенила, разрушила его, и источник моего счастья иссяк, и я на земле, как в беспредельной степи, томлюсь жаждою, которой ничто утолить не может. Все, что прежде меня радовало, что возбуждало во мне сладостные ощущения, воспоминания, мечты, — все это вдруг превратилось в яд, который мертвил меня. Шел ли я в рощу, где мы часто гуляли с ней, — и мне казалось, что каждое дерево говорило: ты один, ее уже нет с тобой, она уже никогда не придет в эти места! Попадался ли мне на глаза какой-нибудь наряд ее, какая-нибудь любимая вещь — сердце мое сжималось, я страдал, как в пытке, но не имел сил отвести глаз от того, что меня терзало. Я бы не вынес моих мучений, если бы участие моих домашних, их беспрерывные заботы обо мне не поддержали меня. Они не возвратили мне счастья, но удержали меня на земле, чтобы жить для них. Время залечивает самые глубокие раны сердца. Прошло уже два года с тех пор, как смерть похитила мое счастье; жало горести

притупилось. Осталось в душе одно уныние, одно убийственное равнодушие ко всему. Я не мог уже ничем наслаждаться, разучился радоваться! Всех более принимала во мне участие Евгения, одна из сирот, призренных отцом моим. Живя с нею под одной кровлей с детства, я издавна любил ее, любил наравне с братом моим Илларионом и с Лидией, другою сиротой, которую покойный родитель воспитал вместе с нами. Но теперь я люблю ее более всего на свете. С каким искусством, с какою нежностью умела она утолять мои сердечные терзания, отгонять от меня ядовитое дыхание отчаяния! В ней воскресла для меня моя Ольга. Но я не должен так любить ее: она принадлежит уже другому. Брат мой Илларион давно, еще при жизни моей Ольги, оценил Евгению и привязался к ней со всею пылкостью первой любви. Прошло уже три года, как он открыл ей свое сердце, поклялся ей в вечной любви и требовал и ее клятвы. Она знала доброе сердце Иллариона; сила его страсти изумила, испугала ее. Чтобы его успокоить, она произнесла клятву, которой он от нее требовал. С тех пор Илларион называет ее своею

невестой и употребляет все возможные усилия, чтобы приобрести средства к жизни. Он не хочет отягощать меня собой и решился тогда обвенчаться с Евгенией, когда будет в состоянии жить своим домом. Несколько раз предлагал я ему разделить небольшой достаток мой, но он всегда отказывался, говоря, что на мне еще лежит обязанность устроить судьбу Лидии, и что он и без того уже многим мне обязан. Моими стараниями, ему уже обещано место стрелецкого головы; он скоро получит его и достигнет цели своих желаний. Евгения уедет с ним, и я... опять останусь один, второй раз потеряю в ней мою Ольгу. Боже мой! Боже мой! Зачем я так люблю ее!.. Но нет, я не должен любить ее... пусть Илларион будет счастлив. Дай Бог, чтобы и она была с ним счастлива, так счастлива, как только возможно на земле. Я решился затаить любовь мою, чтобы не разрушить, не уменьшить благополучия моего брата и Евгении. Для них я принесу, я должен принести эту жертву. Давно и твердо решился я на это, но... иногда плачу дань человеческой слабости. Бывают минуты, когда я завидую брату Иллариону, когда мне кажется,

что он не стоит Евгении, не сумеет оценить и осчастливить ее. Стыжусь сказать: я его тогда ненавижу, его, моего брата, которого люблю с детства! Тогда в сердце моем восстает ужасная борьба; часто я сам не понимаю чувств своих. О, какие это ужасные минуты! Недавно испытал я еще новое мучение. Илларион, получив письмо из Москвы, в котором уведомили его, что он скоро будет назначен головою, прибежал в восторге домой и подал письмо Евгении. Она прочитала его, и мне показалось, что неожиданная весть не произвела в ней большой радости, что она даже стала задумчивее прежнего. Во мне мелькнула мысль: любит ли она Иллариона? Не сожалеет ли она, что связала совесть свою клятвой?

— Итак, мы скоро расстанемся? — сказала она мне. Эти простые слова отдались в моем сердце, как крик утопающего. Не знаю, что со мной сделалось. Боже мой, думал я, если Евгения проникла в глубину моего сердца, если она то же чувствует втайне ко мне, что я к ней, если и у нее в душе такая же ужасная борьба? Для чего же не объясниться нам, не открыть чувств наших? Но возможно ли это?

Она не захочет убить Иллариона, она для него собой пожертвует так же, как я для них собой жертвую, Что, если, не любя, она идет за него? Она будет страдать и скрывать свои страдания. Нет, нет! Илларион не захочет погубить ее, если он хоть сколько-нибудь ее любит. Но если он не в силах будет принести этой жертвы — что с ним будет? Вот мысли, которые меня с тех пор день и ночь терзают. Я изнемогаю от душевной борьбы и не знаю, что делать должен. Разъясни, отец Авраамий, мысли и чувства мои, рассуди меня с моим сердцем и произнеси беспристрастный приговор. Я исполню его.

Старик покачал головой и задумался.

— Я почти уже переплыл житейское море, — сказал он после продолжительного молчания. — И для меня странен долетающий ко мне издали голос страстей земных. Не говорю это в укор тебе, сын мой. И я был молод, и меня обуревали страсти. Теперь, оглянувшись назад, вспомня время, когда вместо этих белых седин вились на моих плечах русые кудри, я с удивлением спрашиваю самого себя: неужели это был я? Быстро проходит все зем-

ное!.. Красота, любовь, все наши страсти, которые так волнуют нас, не более как призраки сна, то пленяющие, то терзающие нас. И счастлив тот, кто устоит против обольщений их, чью совесть не увлекут они с пути прямого. Пролетают скоро душевные бури, но угрызения совести остаются надолго в том, кто пал, кто не выдержал бури. До самых дверей могилы преследует нас стыд падения. Эта дверь, ведущая в другой, высший мир, страшна для того, кто, приближаясь к ней, стыдится самого себя, самого себя ужасается.

— Желал бы я скорее подойти к ней! — сказал стрелец. — Этот мир для меня несносен.

— Стыдись своей слабости! Желать себе смерти грешно. Веришь ли ты, что Бог даровал жизнь нам, что Он ее поддерживает и ведет нас к другой, настоящей жизни, через временный путь борьбы, испытаний, лишений? Кто знает, что возложил Господь на тебя. Что предназначил тебе совершить в этой жизни? Может быть, рука твоя понадобится отечеству; может быть, она предназначена защитить от врагов тысячи твоих ближних, вдов беспомощных, младенцев невинных. Спасая

их, ты не с теперешним унынием твоим бро-
сишься к дверям могилы, — с мечом в руке, —
и, сопровождаемый благословениями спасен-
ных тобою, скажешь: "Я не даром жил на све-
те!"

— О! Это была бы смерть сладостная, —
сказал Феодосии. — Я бы избавился от моих
мучений. Но пока я жив, я все буду мучиться.
Как успокою я сердце, чем уйму его терзания?
Дай совет, наставь меня, отец Авраамий!

— Спроси и послушай совета внутреннего
твоего наставника. Две главные заповеди да-
ны нам: любить Бога всей душой и ближнего,
как самого себя. Верь, что без воли Творца ни-
что в мире случиться не может, кроме зла, ко-
торое делает человек, один человек, проти-
ваясь воле Божьей. Поступай всегда так, чтобы
твои намерения, побуждения, решимость
могли быть перед судом собственного твоего
сердца согласны с любовью к Богу и ближ-
ним — и ты никогда не ошибешься, не сдела-
ешь зла.

Долго еще разговаривали они. Солнце уже
склонялось к западу, когда Феодосий в глубо-
кой задумчивости подъехал на своем воро-

ном коне к воротам угличской крепости.

В Угличе до сих пор сохранился ров, который обозначает, где была в старину крепость. Земляные валы и каменные стены, ее окружавшие, давно скрыты; уцелели только из старинных зданий каменный дворец царевича Димитрия и церковь Преображения, с отдельной, высокой колокольней. Теперешний дворец не что иное, как маленький, четырехугольный домик, с неправильными окошками. В первом этаже кладовые, на втором одна комната. Но к этому дворцу, в старину, приделаны были различного вида и величины деревянные строения, которые составляли с ним одно неправильное целое. Теперь около дворца обширная площадь, а подле нее сад, которые прежде были застроены деревянными домами частных лиц. Крепость стояла на высоком берегу Волги. Несколько подземных, потаенных ходов вели из крепости к реке и оканчивались небольшой железной дверью, прикрытой кустарниками.

Со стороны Волги земляной вал был невысок и стоял на самом краю крутого берега. Из

окон домов, находившихся в крепости, видны были на далекое расстояние река и луговая сторона ее, с деревнями, монастырями, мельницами, рощами, лесами, холмами.

У одного из таких окон сидели Евгения и Лидия, шили какие-то для себя наряды. Феодосия и Иллариона не было дома.

— Как я ни посмотрю на тебя, сестрица, — сказала Лидия, — все мне приходит в голову, что мы с тобой в Угличе первые красавицы. Да что я говорю, в Угличе...

— Не скажешь ли, в целом свете, Лидия?

— Ну, нет. Это будет немножко хвастливо. Что же касается до Углича, мы, наверное, здесь первые. Что тут скромничать! Я видала здесь много прекрасных лицом девушек, но все они похожи на кукол: и пошевелиться не смеют.

— И мы были бы с тобой такие же молчаливые, если бы воспитывались не в Польше. Зато послушай, что здесь про нас говорят!

— Ну что, что говорят? Да здесь никто и говорить-то не умеет. Молодые рта разинуть не смеют, а пожилые и старые сожмут разве что значительно губы и покачают своими умны-

ми головами. Это еще беда небольшая.

— Нас все называют басурманками.

— Басурманками! — вскричала Лидия, захохотав. — Да за что это?

— За то, что мы не соблюдаем здешних обычаев.

— Хороши обычаи! Каждая девушка сиди в своей светлице, как в клетке, и не смей носу высунуть в окошко; с мужчинами не говори ни слова, как немая, и только родственникам в пояс кланяйся, сложа степенно руки; прогуляться по городу и не думай, а пойдешь в церковь, то иди с конвоем бабушек и тетушек, земли под собой не слыша от страха и потупив глаза; взглянуть на мужчину, хоть бы ему было девяносто лет от роду, не смей. Мне кажется, здешние красавицы и на попа в церкви смотреть боятся. Не смотри на мужчин! Да что они за звери такие! Почему нам на них не смотреть, и прямо в глаза? Чего их бояться? Они глазают же на нас!

— Ты рассуждаешь по-польски, а мы теперь в Угличе. Каждая земля, каждый город имеет свои нравы и обычаи...

— Которым я следовать не хочу. Каждая де-

вушка, которая поумнее и образованнее других, может иметь свои нравы и обычаи. Пускай с нас берут пример.

— Мы с тобой одних лет, и было бы смешно, если бы я вздумала учить тебя. Но... я боюсь, чтобы ты не повредила своей доброй славе и не подала повод к пересудам.

— Не боюсь я никаких пересудов! От них никто не избавится, хоть в лес от людей убеги. И тут какая-нибудь найдется благочестивая кумушка, которая, вздохнув, скажет: "Девка-то в лес ушла; ну, что ей одной в лесу делать?!"

— С такими правилами ты не найдешь себе жениха здесь.

— Есть чего искать! Пусть они меня ищут. Не может быть, чтобы я никому не понравилась. Да надобно, чтобы и он мне понравился. А все-таки прежде я его хорошенько помучу: больше ценить меня будет.

— Не ошибись в расчетах, сестрица!

— Да у меня никаких расчетов нет. Буду всем показывать себя, какова я есть. Уж притворяться ни для кого не стану; буду на всех смотреть, выбирать, сравнивать. Разве это не

весело? Пусть меня пересуживают! У кого совесть чиста, тот может всякому смело смотреть в глаза, не исключая и молодых мужчин, которые не весть как много о себе думают. А уж если я кому понравлюсь и увижу, что он меня стоит, потешу же я себя над ним; я его переучу по-своему. Здешние все женихи немножко на медведей похожи; а мой будет и мазурку танцевать, и играть на гитаре, и петь, и читать латинские книги, в которых я, правда, и сама толку не знаю.

— Ах ты, веселая головушка!

— Да что же, разве лучше по-твоему... грустить да задумываться? И о чем грустить тебе? У тебя уже есть жених. Илларион-то славный малый! Он всех здешних женихов за пояс заткнет. Как он мазурку танцует! Этак здешним женихам и во сне проплясать не пригрезится. Посмотрела, как они танцуют: словно глину месят!

— Как будто семейное счастье зависит от одной мазурки.

— Конечно, не зависит, но мазурка семейному счастью не мешает. Знаешь ли что, сестрица? Мне кажется, что Илларион не очень

тебе нравится. Если это правда, то уступи мне его. Я тебя за это поцелую.

— Перестань, что ты за пустяки говоришь, сестра!

— Ну, скажи правду, признайся, мы здесь одни. Ты очень любишь Иллариона?

— Люблю.

— Больше всех на свете?

— Конечно.

— А что ты скажешь о Феодосии?

— Это что за вопросы? Я люблю и Феодосия, но так же, как и ты.

— Ну, а он тебя так чересчур любит.

— Я думаю, так же, как и тебя.

— Нет, не так же, большая разница! Я давно за ним примечаю. Он думает, что я ветреная, что я ничего не понимаю. Нет, я гораздо догадливее, нежели он воображает. Отчего, например, со мной он говорит охотно и много, а с тобой все выбирает время говорить, и более молчалив, когда ты тут?

— Перестань пустяки выдумывать. Тебе, кажется, хочется убедить меня, чтобы я уступила тебе Иллариона.

— Вот еще! Уж не упрек ли это? Не нужно

мне твоего Иллариона. Я постараюсь понравиться Феодосию. Он также танцует порядочно мазурку; или найду кого-нибудь из здешних, да отучу его от всего, что мне в нем не понравится, и выучу его всему, всему, что мне нравится. Он лучше Иллариона будет.

— Ах, Лидия, ты совершенное дитя! Завидую твоему веселому характеру.

— А я твоему не завидую. Ты невеста, и так часто грустишь. Посмотри на меня, когда я буду невестой: грусть тогда на десять верст не осмелится ко мне подъехать.

— Дай Бог, чтобы она всегда была на сто верст от тебя. Но в жизни никто не избегал печали. Так жизнь устроена!

— А я перестрою ее по-своему.

— Что ты хочешь перестроить, Лидия, — спросил Феодосий, входя в комнату, — свою светелку, что ли?

— Нет, не светелку, а жизнь.

— Как, жизнь?

— Да вот, сестрица говорит, будто бы жизнь так устроена, что всегда и всем надобно печалиться, даже невестам.

— Ты, Лидия, переиначиваешь слова

мои, — заметила Евгения, немного смутившись. — Надобно знать связь всего нашего разговора.

— Какую же ты мысль сказала, Евгения? — спросил Феодосий, стараясь принять шуточный и веселый вид. Между тем обе девушки заметили, что он скрывал от них сильное душевное волнение.

В это время в комнату вошел Илларион.

— Еще хорошие вести из Москвы, — сказал он. — Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский, которого теперь Москва на руках носит, обещал говорить обо мне царю. Он хочет сам выступить против польского короля Сигизмунда, который стоит теперь у Смоленска, не смея идти вперед и стыдясь отступить. А в Калуге, куда бежал тушинский самозванец, князь намеревается отрядить небольшое войско, чтобы уничтожить шайку злодея. Он хочет пожаловать меня в стрелецкие головы и назначить в это войско, которое, по окончании похода, останется в Калуге. Бог услышал мои молитвы, милая Евгения! Счастье наше недалеко.

Он поцеловал свою невесту.

— Так мы скоро и на свадьбе попируем? — вскричала Лидия, прыгая от радости. — Уж как же я мазурку протанцую — все на меня заглядятся!

— Ты побледнела, Евгения, — сказал Илларион, пристально глядя ей в глаза. — Что с тобой сделалось?

— Всякое неожиданное известие, как бы оно радостно ни было, производит на меня странное действие. Я сама себя не понимаю.

— Когда же, сестрица, ты пойдешь к венцу? — спросила Лидия, целуя Евгению.

— Я хотел тебя о том же спросить, моя милая, — сказал Илларион, взяв Евгению за обе руки и нежно глядя ей в глаза. — Поход в Калугу почти нельзя назвать походом, это скорее будет прогулка. На то, чтобы выгнать из города ничтожную шайку самозванца и уничтожить ее, потребуется несколько часов. Мне бы хотелось, моя милая, чтобы молодая жена моя поздравила меня с победой.

— Я в твоей воле, Илларион. Я готова ехать с тобой, куда хочешь.

— Итак, наша свадьба будет здесь, в Угличе, перед отъездом в Калугу. Ты согласна, Ев-

гения?

— В Угличе, непременно в Угличе! — воскликнула Лидия. — Феодосию нельзя будет ехать на свадьбу к вам, в Калугу, а мне и по-прежнему. Кто же без меня невесту к венцу оденет? Кто на свадебном пиру протанцует мазурку так хорошо, как я? Без моей мазурки и свадьба будет не в свадьбу.

— Что это? У тебя слезы на глазах, Евгения? — удивился Илларион. — Я, пожалуй, подумаю, что ты выходишь замуж за немолого. Ты, кажется, совсем не рада. Скажи, ради Бога, что с тобой?

— Мне пришло в голову, что я должна расстаться надолго и — кто знает, — может быть, навсегда с моей сестрицей Лидией!

— А со мной, Евгения, ты расстанешься без всякого сожаления? — спросил Феодосий, стараясь придать своему голосу шутливое выражение, но голос его от сильного внутреннего движения дрожал.

Евгения бросилась Феодосию на шею, прижалась лицом к его плечу и заплакала.

Илларион гулял с Евгенией по крутому берегу Волги. Разговор их переходил от предмета к предмету. Глаза Иллариона сияли восторгом, упоением счастья. Евгения также была весела. Но по временам задумчивость мелькала на ее лице. Прелестные глаза девушки опускались к земле, и если в это время какая-нибудь шутка Иллариона вызывала на ее устах улыбку, то в этой улыбке заметна была какая-то принужденность.

— Скажи мне, Евгения, отчего ты все печальна? О чем тебе теперь печалиться?

— С чего ты взял, Илларион, что я печальна?

— Ты, без сомнения, что-нибудь скрываешь от меня.

— У меня нет от тебя ничего тайного.

— Докажи мне это. Скажи мне, о чем думала ты теперь, когда так засмотрелась на струи Волги?

— Мне пришло в голову старое сравнение реки с жизнью. Я увидела вон это лебединое перо: посмотри, как быстро несет его Волга.

Куда плывет оно? Где остановится? Так и мы не знаем, что будет с нами? Куда умчит нас быстрый поток жизни?

— Он умчит тебя в мои объятия. Он принесет тебя к порогу скромного, светлого домика, где ждут тебя неизменная, пламенная любовь и семейные радости, которых нет ничего выше на земле. Ах, Евгения! Ты меня не так любишь, как я тебя. Если бы ты так же любила, то так же бы и радовалась близости нашего счастья.

— Ты несправедлив, Илларион. Ты знаешь давно, что я люблю тебя; более любить я не умею. Ценю вполне мое счастье и благодарю за него Бога, но при всем том не могу защитить себя от грустных мыслей; они невольно приходят в голову. Таков уж мой характер, которому я иногда сама не рада. Я люблю вспоминать о прошедшем, ценю настоящее, умею наслаждаться им, но боюсь будущего. Я никогда не предавалась, как другие, мечтам, надеждам и пламенным желаниям. Что было, того никто не отнимет у меня; наслаждения в настоящем могла бы чувствовать живее, если бы не отравлялись они мыслью, что все на

земле является на миг. О будущем я стараюсь никогда не думать. Положим, что одни радости ожидают нас впереди. Но что такое будущее? Оно — богатый запас, верная добыча для прошедшего. Чему назначено быть, тому назначено и пройти. Поэтому ожидание будущего счастья никогда меня не радует. И кто знает, придет ли еще оно?

— К чему, моя милая, так мрачно смотреть на жизнь? Много в ней горя, но много и радостей. К чему ожидать одного худого? Теперь счастье наше недалеко и, кажется, верно. Неужели и это тебя не радует?

— Я не люблю притворства, я должна быть откровенна с тобой. Я бы обманула тебя, если бы отвечала, что радует.

— Не радует... Ты меня не любишь, Евгения!

— Не обижай меня напрасным подозрением. Нет, Илларион! Я люблю тебя, очень люблю, но... говорят, что любовь дает нам полное блаженство. Сердце мое его не чувствует. Счастье мое отравляется многим, многим!

— Чем же?

— Не должна ли я расстаться, разойтись по

разным дорогам жизни с Лидией, с которой росла с младенчества? А бедный Феодосий, который так много потерпел в жизни, который утратил навсегда свое счастье? Лидия не может для него заменить меня. Она слишком весело смотрит на жизнь, не примет в нем такого участия, не поймет его страданий и не сумеет облегчить их. Если я вижу, что страдает другой и что я могу помочь ему, пожертвовав своим собственным счастьем, я готова на эту жертву. Она тем для меня легче, что я не могу быть счастлива при мысли о страданиях другого, которые я умела облегчать и которые облегчать уже не буду в силах.

— Зачем же, Евгения, ты уверяла, что любишь меня? Остайся с Феодосием. Я поеду один в поход и постараюсь разлюбить, забыть тебя. О! Это слишком дорого мне будет стоить. Евгения, Евгения! Что сделала ты со мной?! Для чего давно не сказала, что меня не любишь, что меня любить не можешь?

— Ты бы стал страдать, Илларион, а я люблю тебя наравне с Феодосием — нет! Люблю тебя более, потому что теперь я необходимее для тебя, чем для него. Горесть его лишилась

уже прежней силы; он может теперь обойтись без меня и найдет утешение в твердости души своей; а ты, если бы я отвергла любовь твою, ты, наверное, не перенес бы этого. Я твоя, Илларион! Но ты плачешь? Нет, нет, нет! — воскликнула она, бросаясь ему на шею и целуя его в глаза, наполненные слезами. — Я тебе не позволю плакать.

Илларион в восторге сжал ее в объятиях.

— Так ты меня любишь, Евгения?

— Ты давно уже это знаешь. Я никогда никого не обманывала.

Феодосий, облокотясь на пушку, смотрел в глубокой задумчивости с земляного вала на Волгу. Лидия, оставшись дома одна, не знала, что делать со скуки. Из окна увидев Феодосия, она вздумала взобраться к нему на вал.

— А вот и я здесь! — сказала она, запыхавшись. — Как трудно взбежать сюда: я совсем задохнулась.

— Лидия! — удивился Феодосий. — Откуда ты явилась? Что это тебе вздумалось!

— Я увидела из окна, что ты стоишь у этой пушки, повеся нос, и будто подслушиваешь: не скажет ли тебе чего пушка? Он от нее ни

словечка не дождется, подумала я, и побежала сюда, чтобы поговорить с тобой. Ты, кажется, очень печален, Феодосий.

— Нимало, я только задумался.

— Нет, ты печален, и я знаю отчего.

— А отчего бы, например?

— Оттого, что Евгения скоро замуж выходит и отсюда уезжает.

— Напротив: ее счастье меня радует. Правда, что мне грустно с нею расставаться, но, я думаю, и тебе не весело.

— Да нельзя ли как сделать, чтобы они здесь остались? Ведь я пропаду с тоски. Ты всегда такой задумчивый, а без Евгении от тебя и слова никогда не добьешься. Ты будешь очень горевать, да и она также.

— Почему это?

— Потому что она тебя любит более, чем Иллариона.

— Не говори пустяков, Лидия.

— Ну пусть я говорю пустяки; только я знаю то наверное, что ты любишь Евгению более всего на свете; она любит тебя более, чем Иллариона, а я... люблю Иллариона более, чем она. Но Илларион меня не любит —

так и Бог с ним!

— Откуда все это пришло тебе в голову?

— Пришло с разных сторон; через эти два окошечка, которые называются глазами и которые, говорят, очень светлы и не дурны, да еще отсюда.

Она положила руку на сердце.

— Ты настоящий ребенок, Лидия!

— Хорош ребенок: девятнадцать лет.

— Я не говорю: по летам.

— Что ж, глупа я, что ли, по-твоему?.. Как бы не так!.. Видишь, ему досадно, что я догадалась о том, что она ото всех скрывает. Не беспокойся, не проведешь меня! Я давно все вижу. Глаза-то у меня не для одной красы вставлены. И уши также, у девятнадцатилетнего ребеночка, не для того только, чтобы будущий муж мой за какую-нибудь проказу мог иметь удовольствие выдрать меня за уши. Да я ему еще это и не позволю.

— А ты стоила бы этого, Лидия, за все твои выдумки.

— Ну, хорошо, выдери мне ухо, если ты по чистой совести уверен, что я говорю неправду. Что? Рука, видно, не поднимается?

— Я в совести уверен только в том, что ты большая проказница.

— А я уверена в том, что ты очень худо делаешь, тая сто всех нас настоящие твои чувства. Если Евгения увидит, что ты ее так любишь, то и она скрываться не станет. Может и то быть, что она теперь сама не понимает чувств своих. Илларион сначала погорюет немножко, но я его постараюсь утешить. Он наконец меня полюбит и на мне женится; все уладится как нельзя лучше; все будем довольны и счастливы.

Совет Лидии сильно взволновал Феодосия. Он с трудом мог скрыть свое волнение и не отвечал ей ни слова. Взглянув в сторону, он сказал:

— Кто это идет сюда к нам? Гонец, кажется. Откуда и какие вести привез он?

Гонец подошел и, поклонясь, подал свиток Феодосию.

— Боже мой! — вскричал он, прочитав свиток. — Какое ужасное несчастье!

— Что, что такое? — сказала, встревожась, Лидия.

— Племянник царя, князь Михаил Васи-

льевич, скоропостижно скончался. Какая потеря для отечества! Какая радость для врагов России!

— Это тот самый князь, который хотел говорить царю об Илларионе и послать его в Калугу?

— Да, Лидия, тот самый. Боже мой, Боже мой! Смерть в такие молодые годы и в такое время! Пойдем, Лидия, домой скорее. Иди за мною, — прибавил он, обратясь к гонцу.

С кончиной князя Михаила Скопина-Шуйского закатилась счастливая звезда царя Василия Иоанновича. Польский король Сигизмунд, стоявший до того времени в недоумении у Смоленска, решился действовать наступательно. Тушинский самозванец, подкрепленный Сапегою, из Калуги подступил к Москве и стал лагерем в селе Коломенском. Гетман Жолкевский, посланный Сигизмундом с небольшим отрядом навстречу русскому войску, которое шло к Смоленску под начальством брата царского, князя Димитрия Шуйского, сошелся с ним близ села Клушина и разбил его наголову, воспользовавшись изменой наемных иностранцев. Рязанский дворянин Прокопий Ляпунов поднял знамя бунта, обвиняя царя Василия и брата его Димитрия в отравлении князя Михаила, которого народ назвал отцом отечества.

Феодосий и Илларион готовились выступить с угличским полком стрельцов к Москве, по присланному повелению царскому.

— Завтра, на рассвете, пойдем в поход, — сказал Феодосий, осматривая свое оружие.

— А когда воротитесь — Бог знает, — заметила Лидия. — Ну что мы без них станем делать, сестрица? Одна кухарка Сидоровна останется с нами — очень весело! Мне ужас как плакать хочется!

— Я бы тебе советовал, Лидия, пойти скорее в свою комнату и лечь спать, — сказал Феодосий. — Скоро уже полночь. Вы обе слишком устали сегодня, снаряжая нас в дорогу.

— Да, уснешь теперь! Посмотри там какие тучи... вот и молния!.. Июль уже на исходе, а ни одной грозы еще не было. Зато, я думаю, сегодня ночью будет такой гром, что уж и я струшу. Уф, какой удар! Сестрица! Сестрица! Отойди от окошка.

— Я не боюсь грозы и люблю смотреть, как извивается молния.

— Затвори, по крайней мере, окошко.

— Что это, Евгения? — сказал Илларион, отводя ее от окна. — Ты, любуясь на молнию, плачешь? Перестань горевать, мой друг! Мы скоро воротимся.

В это время послышался у ворот стук, и

вскоре вошел торопливо в комнату стрелецкий сотник Иванов. Незадолго до того Феодосий послал его в Москву с донесениями стрелецкому приказу.

— Что это значит, Илья Сергеевич? — сказал удивленный Феодосий. — Для чего ты так поспешно воротился?

Иванов начал приглаживать свои седые волосы и вздохнул, не говоря ни слова.

— Что с тобой?

— Я такие вести привез из Москвы, Феодосий Петрович, что ты ни за что не поверишь мне и подумаешь, что я помешался.

— Ради Бога, говори скорее, что такое?

— У нас уже нет царя!

— Боже мой! Неужели скончался?

— Нет, он жив.

— Я не понимаю тебя.

— Изменники и бунтовщики свели его с престола и насильно постригли в монахи.

— Возможно ли!

— Положено избрать царя всей землей, а до того времени государством будет править князь Федор Иванович Мстиславский с боярскою думой. Во все города отправлены грамо-

ты об этом и крестоприводные записи. И к тебе прислана записка с приказом, чтобы ты по ней всех нас и всех угличан привел к присяге. Вот он.

В записи было сказано: "Целую крест на том: мы дворяне, и чашники, и стольники, и стряпчие, и головы, и дети боярские, и сотники, и стрельцы, и казаки, и всякие служивые люди, и приказные, и гости, и торговые, и черные, и всякие люди всего Московского государства били челом боярам и князю Федору Ивановичу Мстиславскому с товарищами, чтобы прямили Московское государство, пока нам Бог даст государя, и крест нам на том целовать, что нам во всем их слушать и суд их всякий любить, что они кому за службу и за вину приговорят, и за Московское государство, и за них стоять, и с изменниками биться до смерти, а вора, который называется царевичем Димитрием, на Московское государство не желать, и между собою, друг над другом и над недругом никакого зла не хотят, никому не мстить, не убивать, не грабить, злани над кем не мыслить и ни в какую измену не вступать. А выбрать государя на Москов-

ское государство им боярам и всяким людям всей землей; а боярам князю Федору Ивановичу Мстиславскому с товарищами за государство стоять и нас всех праведным судом судить, и государя выбрать с нами, всякими людьми, всей землей, сославшись с городами, кого даст Бог на Московское государство. А бывшему государю царю и великому князю Василию Ивановичу всея Руси отказать и на государевом дворе не быть и впредь на государстве не сидеть, и нам над государем и над государынею и над его братьями убийства не чинить никакого зла, а князю Димитрию, да князю Ивану Шуйскому с боярами в думе не сидеть".

Феодосий, прочитав грамоту, смял ее и бросил на стол.

— Поклянусь в одном, чего требуют, биться насмерть с изменниками.

— Вся Москва, Феодосий Петрович, присягнула, — сказал Иванов. — Многие города также. Что же мы одни против всех станем делать?

— Будем делать то, к чему обязывают нас честь и совесть. Разве можно играть клятва-

ми? Разве не клялись мы служить царю Василию Ивановичу и стоять за него до последней капли крови? Кто поручится мне, что новую клятву не нарушат завтра же, как и прежнюю? К чему это все поведет?

— А если правда, — заметил Илларион, — что на пиру князя Димитрия, по воле царя, был отравлен спаситель отечества, князь Михаил Васильевич?

— Пусть судит его в этом Бог, мы судить царя не вправе. Притом это одно подозрение или, еще вероятнее, клевета. Илья Сергеевич! Ты завтра поедешь с донесением моим к царю Василию Ивановичу. Я напишу, что он поручил мне Углич; что я без его повеления не сдам крепости никому на свете; что я исполню все, что он укажет, и буду ждать его царского слова.

— Ты погубишь себя и всех нас, — сказал Илларион.

— Может быть, я погибну, но никогда не погублю моей чести и совести. Пусть узнают все, что Углич остался верным царю Василию. Все преданные ему соберутся сюда. Возникнет войско, пойдет на изменников и возвратит

царю престол его...

Иванов из Москвы написал Феодосию, что ищет случая передать его донесение царю Василию, который жил в монастыре под строгим присмотром. Время между тем текло, и тучи, одна другой темнее, всходили над нашим отечеством. Почти вся Россия присягнула сыну польского короля Владиславу, между тем как Сигизмунд замышлял присвоить Россию себе и уничтожить ее, соединив с Польшей. Гетман Жолковский занял Москву, шведы брали русские города на северо-западе; измена, смятение, грабежи волновали все государство.

В конце октября Феодосий получил от Иванова письмо. "Дожили мы до позора! — писал он. — Русский православный царь в плену у ляхов. Наши изменники выдали Василия Ивановича гетману Жолковскому, а тот, переодев его в простое литовское платье, повез царя к польскому королю Сигизмунду в лагерь под Смоленском".

Феодосий сдал начальство над угличской крепостью Иллариону, приказав править ею

от имени царя Василия, не сдавать никому до конца, а сам, переодевшись в польскую одежду, сел на коня и поскакал в Смоленск.

Через несколько дней забелели перед ним вдали каменные башни крепости. Повсюду около стен виднелись шатры поляков, их шанцы и туры, с наведенными на крепость пушками. Особенно сильны были укрепления поляков по левую сторону Копытинских ворот. Феодосий подъехал к цепи часовых, собираясь пробраться в лагерь.

— Кто идет?

Феодосий назвал польскую фамилию, первую пришедшую ему в голову, сказал, что он из Москвы послан Жолковским в лагерь и что сам гетман вскоре прибудет сюда. Однако часовой колебался.

— Что у вас за спор? — спросил польский всадник, подъехав к Феодосию. — Кто ты такой?

Прежде чем продолжить наш рассказ, следует поподробнее объяснить, кто такой этот всадник.

Это был пан Струсь, не тот, известный полковник Струсь, который во время пожара

Москвы 1611 года прискакал с отрядом из Можайска на помощь полякам и впоследствии отстаивал Кремль, осажденный князем Пожарским. Последний попал в историю, вероятно, и не помышляя об этом; а первый мечтал постоянно, но не попал, хотя и стоил того по многим причинам. Он был дальний родственник полковника. Владея в Польше довольно обширным поместьем, он жил без всякого расчета. В роскоши, гостеприимстве и великолепии он не хотел отставать от первых богачей Польши и вскоре промотал все имение. Это побудило его поступить на военную службу и отправиться в поход со всей многочисленной своей дворней, которую ему было нечем кормить. Он надеялся при взятии приступом двух, трех русских? богатых городов поправить свое состояние. Он хотел сверх того при всяком случае не упускать военной добычи и года через два думал воротиться на свою родину богаче прежнего. Главная его страсть была честолюбие. Он хотел быть выше всех на свете, мечтал попасть в вельможи и даже со временем, при благоприятных обстоятельствах, в короли.

Природа создала его трусливым и изнеженным сибаритом; но, с другой стороны, от непомерного честолюбия, он так боялся прослыть трусом, что приходил от одной мысли об этом в отчаяние, которое делало его храбрым до неистовства. Естественно, что в этой насильственной храбрости не было ни постоянства, ни хладнокровия. Когда порыв отчаяния утихал, когда он был уверен, что неустрашимость его уже доказана, и что можно без срама уклониться от опасности, он всегда от нее спасался, как заяц. От этого он всегда был первым в нападении, и первым же, когда другие отступали или бежали.

Желание быть выше всех, не уступать никому делало его во мнениях упрямым и настойчивым до невероятности. Он готов был спорить со всяким, о чем бы то ни было, хоть до драки. Занимавшись в молодости изучением польского законодательства, он употреблял в дело свои познания при спорах, и так привык мнения свои подкреплять словами закона, что наконец начал большей частью выдумывать статьи и артикулы существующих или небывалых королевских повелений,

статутов, конституций и сеймовых постановлений, если только спор происходил не при каком-нибудь юристе или адвокате. Иногда, разгорячась, он отчаянно спорил и с юристами, уверенный, что никто из них не может твердо помнить бесчисленного множества польских законов.

Он был чрезвычайно нетерпелив и вспыльчив. Противоречие тотчас выводило его из себя. Если он что-нибудь выдумывал, на что-нибудь решался или давал другому какой-нибудь совет, то не мог спокойно спать, не исполнив своей мысли или не принудив другого последовать его совету.

В этих случаях он целый день, а нередко и целую неделю все думал об одном и том же. Мысль: как бы сделать это, как бы доказать ему, как бы принудить его, уличить, довести *ad absurdum*, беспрестанно вертелась у него в голове и мучила его. От этого он был чрезвычайно рассеян; помнил малейшие подробности разговора или спора, который был за неделю, и забывал, что было им или ему сказано за минуту. Еще особенная черта его характера была та, что он легко влюблялся. Два-

дцать лет сряду твердил он, что в будущем месяце непременно женится, и дожил до срока пяти лет холостяком. Однажды вздумалось ему припомнить по порядку красавиц, в которых он был страстно влюблен. Он начал их считать и не мог окончить счета. Ему самому стало смешно. Счет его остановился на семьдесят четвертой, в 1605 году; осталось еще исчислить предметы любви за пять лет и несколько месяцев.

Он был среднего роста, довольно толст и неуклюж. Воображая себя чрезвычайно ловким, он не делал ни одного движения, ни одного шага спроста; беспрестанно рисовался и становился в разные живописные позы, как будто собираясь танцевать, и крутил свои длинные усы. Глаза у него были большие, черные; густые брови с проседью находились в беспрестанном движении. Он то опускал их, то поднимал, то кривил; орлиный нос его, довольно длинный и согнувшийся, как мелкий шляхтич перед богатым паном, старался, казалось, заглянуть в рот, который часто улыбался невпопад и потом быстро принимал, также редко впопад, важное и строгое выра-

жение. Когда он слушал чей-нибудь рассказ, то всегда нижней губою прижимал верхнюю к носу, кивал значительно головой и делал жесты то одобрения, то осуждения, то сомнения.

Основным же, преобладающим выражением на его физиономии и вообще наружности было выражение самодовольства и гордости, с легким оттенком глупости.

И вот эта самая особа подъехала к Феодосию с вопросом "кто ты такой?".

— Я шляхтич Ходзинский, — ответил Феодосий по-польски. — Приехал сюда из Москвы по поручению гетмана Жолковского, который сюда скоро будет.

— А зачем он прибудет сюда? Мы и без него возьмем Смоленск. В храбрости мы ему не уступим.

— Он везет сюда московского царя, которого взял в плен.

— Взял в плен! Чертов хвост! Да это превосходно! Но послушай, любезный, ты, мне кажется, врешь.

— Нет, пан, я говорю правду.

— Дьявольская бомба! Царь москалей —

наш пленник! Это превосходно! Да здравствует Польша!

— Вели же, вельможный пан, пропустить меня в лагерь. Я хочу записаться в какой-нибудь полк из здешних. Полкам, которые в Москве, совсем не платят жалованья.

— Хочешь ли служить под моим начальством? Я пан Струсь. Ты, я думаю, слышал обо мне?

— Как не слышать! Я сочту за особую честь служить у вас.

— Так поди к моему ротмистру и вели себя внести в список. Или подожди, я сам тебя запишу.

Струсь в рассеянности забыл, что он еще не полковник, а ротмистр. Он вынул из кармана бумагу и карандаш и записал вымышленное имя Феодосия.

— А сколько ты хочешь жалованья? — продолжал Струсь.

— Сколько назначите. Я торговаться не стану.

— Чертов хвост! Да ты лихой малый. Ну, иди же за мной. Я назначу, в которой тебе быть палатке. О жалованье не беспокойся, бу-

дешь мною доволен.

На другой день прибыл гетман Жолковский. По всему лагерю разнеслась весть, что он привез взятого им в плен царя московского. Везде поднялся шумный говор, везде раздавались радостные восклицания.

Сигизмунд для большего блеска велел Жолковскому представить ему царя Василия перед лицом всего войска. Королевская палатка стояла на холме, на некотором расстоянии от крепости, и была закрыта от выстрелов земляным валом. Перед палаткой устроили нечто наподобие трона, на котором должен был сидеть Сигизмунд, принимая Шуйского. Около трона разостлали несколько ковров, где должна была стоять королевская свита. Звук трубы подал знак войску о начале торжества.

Струсь, сопровождаемый Феодосием, которого он очень полюбил, протеснился сквозь толпу и, чтобы лучше все видеть, влез с ним на земляной вал, который находился подле королевской палатки. На валу и со всех сторон около холма и палатки стояло уже много народа.

— Желаю здравия, пан! — сказал Струсь, увидев на валу в числе зрителей своего полковника Ивана Каганского.

— Здравствуйте, ротмистр! — отвечал тот.

— Скоро ли торжество начнется? — спросил Струсь.

— Король уже приехал, и теперь в палатке. Я думаю, он сейчас оттуда выйдет и сядет на трон. Как отсюда все хорошо увидим! Вал невысок, можно даже расслышать, что там внизу говорить будут.

— Дьявольская бомба! Это прелюбопытно! А вот позвольте, полковник, представить вам шляхтича Ходзинского. Он вчера записался в наш полк.

— А кто его записал? — спросил Каганский, оглядев Феодосия с ног до головы.

— Я записал.

— Кажется, следовало бы сначала представить его полковнику и потом только записывать.

— Извините, полковник, это совсем не было нужно. Ротмистр имеет полное право принять и записать кого бы то ни было.

— Извините, ротмистр, вы, я вижу, не знае-

те до сих пор твердо порядка.

— Я не знаю порядка? Чертов хвост! Мы в этом никому не уступим! Разве вы забыли статус Вислицкий 1347 года? Да и в статусе короля Владислава Ягеллы 1420 года сказано: "Ротмистр имеет право принять и записать в полк всякого желающего".

— Я не знаю ваших статусов, знаю только то, что...

— Не знаете статусов, полковник? А что говорит артикул пятнадцатый сеймового постановления 1583 или 1585 года? Не помню точно.

— Артикул этот говорит, что ротмистру не следует, учить своего полковника.

— Вы, я вижу, шутите над законом и забываете, что в обычаях земли Краковской 1505 года, *Consuetudines Cracovienses*, постановлено на подобные случаи очень строгое правило.

— Ах, отстаньте, прошу вас, ротмистр! Вы меня задушить хотите цитатами из всех статусов, постановлений и обычаев, какие только бывали или не бывали на свете. К чему толковать с глухим о музыке?

— Стало быть, вы согласны, что ротмистр имеет право...

— Согласен, на все согласен! Тише, тише! Король вышел из палатки.

Сигизмунд сел на приготовленный трон. По правую и по левую его руку поместились главные военачальники и вельможи. Телохранители королевские встали около них полукругом. Два строя солдат, протянутые от холма до шатра, где был Жолковский с Шуйским, образовали род улицы. Раздался звук трубы. Гетман вывел из шатра своего пленника и пошел вперед. Шуйского, одетого в великолепное платье, окружила стража и повела вслед за гетманом. Раздались по всему полю шумные восклицания: "Да здравствует король! Да здравствует Польша!"

— Вот уж царь москалей подходит к королю, — сказал Струсь, разглаживая свои усы. — Знай наших! Мы, и думаю, скоро возьмем в плен китайского императора.

— Как он бледен и печален, — заметил Каганский, глядя внимательно на Шуйского.

Феодосий дрожал. Сердце его сжалось.

"Боже! Боже! До чего дошла Россия!" — ду-

мал он, готовый зарыдать, и одна только слеза скатилась с ресниц его, но какая слеза...

Шуйского поставили перед Сигизмундом. Жолковский сказал королю приветственную речь и поздравил его с пленным царем русским.

— Царь Василий Иванович! — сказал он в заключение, обратясь к Шуйскому. — Преклони колени и поклонись твоему победителю, могущественному и великому королю Польши.

При этих словах Шуйский гордо поднял опущенную на грудь голову, взглянул на гетмана, потом на короля и твердо произнес:

— Царь московский не кланяется королям. Судьбами Всевышнего я пленник, но взят не вашими руками, а выдан вам моими подданными-изменниками.

Феодосий готов был броситься к ногам Шуйского.

— Дьявольская бомба! — воскликнул Струсь. — Он отвечает истинно по-царски! Тем более нам чести, что у нас такой царь в плену.

Наступила ночь. Шуйский, в той же одежде, в которой представлен был королю, сидел в шатре на постеле, облокотясь на изголовье. На столике перед ним тускло горела свеча, стража стояла у входа.

Во всем лагере еще длился общий пир, начавшийся с утра. Вино лилось рекой. Слышались шум, крики, песни.

"Не сон ли тяжелый мне снится? — думал Шуйский. — Неужели я, царь России, в самом деле не более чем узник Сигизмунда? Нет, нет! Я в Кремле. Это мои подданные ликуют и веселятся. Да. Так веселились они, когда я сверг с престола ненавистного всем самозванца, и когда они, в порыве благодарности, избрали меня царем. Бог видит, желал ли я добра им. И что они со мной сделали! За то, что я для счастья их не жалел этой седой головы, которая лежала на плахе, когда я обличал самозванца, они сорвали с нее царский венец, лишили меня свободы, постригли неволей в чернецы, предали врагам России, разлучили меня с женой... Высока, крепка

ограда Суздальского монастыря: ты никогда уже не выйдешь из него, бывшая царица! Напрасно будешь плакать и рваться — в могиле одной найдешь утешение! Мы уже с тобой не увидимся в этой жизни: ты умрешь на чужих руках, я не закрою глаз твоих!.. Я сам умру, окруженный врагами, на чужой стороне!

Где же мои угодники, мои льстецы? Что не идете по-прежнему кланяться мне, выпрашивать у меня милостей? Я не нужен вам более!.. Я скоро умру, и все позабудут меня. Все изменили мне, все меня возненавидели! И за что? Что я сделал им? Но, может быть, есть люди, которые втайне жалеют меня. Станут жалеть многие, когда будут страдать под игом Сигизмунда. Боже! Спаси Россию, защити от врагов ее!

Польский шатер прикрывает меня от ночного холода. Теперь две сажени земли — все мои владения. Давно ли шатер мой был свод небесный, который раскидывался над обширным царством русским? Все изменили мне, все возненавидели! Это ужасно!"

— Что надобно тебе? — спросил он, увидев человека, ссторожно вошедшего в шатер.

Феодосий бросился на колени перед пленным царем.

— Кто ты? — удивленно спросил Шуйский, приподнявшись.

— Верный подданный вашего царского величества.

— У меня уже нет подданных.

— Есть многие, которые готовы умереть за тебя и за счастье отечества.

— Они должны теперь ждать счастья от Сигизмунда.

— Сигизмунда ждут русские сабли! Я стрелецкий голова Алмазов, начальник Угличской крепости. Все стрельцы моего полка преданы вашему царскому величеству. Я во все стороны разошлю гонцов и буду звать всех к Угличу, для защиты царя и отечества. Соберутся тысячи. Многие уже теперь видят, что, присягнув королевичу Владиславу, они его никогда не дождутся, и что сам Сигизмунд хочет для себя поработить Россию и присоединить ее к Польше. На тебя, государь, одна надежда. Ты законный русский царь! Спасись отсюда из рук врагов, укройся в Угличе. Когда на стенах его разовьется твое знамя, бесчис-

ленная рать соберется, пойдет ударить на полки Сигизмунда и с торжеством введет тебя в Москву.

— Благодарю тебя за твое усердие, за твои добрые желания, но они сбыться не могут. Как спасусь я отсюда?

— Теперь ночь. Стражи твои после пира уснули мертвым сном. Я вошел сюда свободно. И все в лагере теперь или спят, или пируют, как безумные. Я проведу тебя, государь!

— Но если меня схватят?.. Нет, нет, я не унижу себя побегом. И куда бежать мне? К моим изменникам-подданным? Они выдали меня Сигизмунду... пусть они и отнимут меня у него, если я еще нужен для отечества. Я не боюсь ни плена, на страданий, ни самой смерти, и в плену докажу, что я... достоин был царствовать.

В это время красное сияние факелов сквозь распахнувшийся занавес осветило внутренность шатра. Послышались шумные разговоры, и пан Струсь с несколькими приятелями вошел в шатер. Видно было, что все они в течение дня пировали очень усердно.

— А где тут царь москалей? — провозгла-

сил Струсь, озираясь. — Который из вас царь? Здесь я вижу четырех человек.

У пана двоилось в глазах.

— В ту ли мы палатку вошли? — заметил другой ротмистр.

— Светите, дурачье, хорошенько! — крикнул Струсь двум солдатам, державшим факелы. — Я ничего не вижу. Мне хочется поближе рассмотреть царя москалей.

— Что надобно вам? — сказал Шуйский. — Я царь русский. Неужели король позволяет оскорблять пленников и лишать даже сна, последней их отрады?

Струсь, глядя мутными, неподвижными глазами на сверкающие глаза Шуйского, невольно снял шапку.

— Сигизмунд, — отвечал он прилипающим языком, — король, то есть. Сигизмунд не спит теперь сам и прислал всех нас засвидетельствовать вам свое почтение и пожелать спокойной ночи.

— После такого дня мне нужна спокойная ночь. — Оставьте меня. Что же вы стоите? Я прошу, я требую, чтобы никто меня не смел тревожить в моей палатке.

— Иди же, пан! — сказал Феодосий.

— А ты кто такой? Не тушинский ли самозванец? Что ты мне приказываешь? Ба! Дьявольская бомба! Если глаза меня не обманывают, это шляхтич Ходзинский, мой завербованный. А знаешь ли ты, несчастный, что, по силе артикула семнадцатого Обычаев Краковской Земли 1668 года, я имею полное право дать тебе оплеуху? Ты этого не знаешь?

Он замахнулся.

— Не забудь, пан, — сказал Феодосий, — что в силу следующего восемнадцатого артикула, я должен буду возвратить тебе оплеуху, а потом разрубить тебе голову. Поди же скорее отсюда, со всеми твоими приятелями.

— Ты врешь, в артикуле восемнадцатом сказано, что данная оплеуха ни под каким видом возвращена быть не может, что разрубить мне голову никак нельзя и что я имею полное право оставаться в этой палатке, сколько мне будет угодно.

— Возьмем его лучше под стражу, — сказал один из приятелей Струся. — Как он смеет нам грубить!

— Оставь меня и спасайся! — шепнул Шуй-

ский Феодосию.

— И откуда взялся здесь этот Ходзинский? — продолжал Струсь. — Его с нами не было.

— Спасайся, я тебе приказываю! — повторил тихо Шуйский. — Прощай! Я тебя всегда буду помнить. Не забудь прежнего царя своего.

— Поспешу в Углич, — сказал Феодосий, — и там напому о себе вашему царскому величеству.

— Куда, куда, Ходзинский? — сказал спокойно Струсь, стоя на одном месте. — Мы тебя берем под стражу. Стой!.. Но он, кажется, ушел? Он этим поступком нарушил все статусы, конституции и сеймовые постановления! Его надобно повесить! Пойдем, повесим его!

Вся ватага, пошатываясь, вышла из палатки.

Феодосий между тем сел на коня своего, который стоял недалеко.

— Посмотри, пан, он уже на лошади! — сказал Струсю один из его приятелей.

— Как на лошади?! Дьявольская бомба! Могучий Ходзинский! Ты с ума сошел! Куда ты

едешь? Слезь с лошади, сейчас же слезь, нам надобно тебя повесить.

— Прощай, пан, — закричал Феодосий. — На прощанье скажу тебе, что я не Ходзинский, а русский стрелецкий голова Алмазов, начальник угличской крепости. Милости просим ко мне в гости!..

— Лови, держи! — закричали паны диким хором брянча саблями.

— Дьявольская голова! — воскликнул Струсь. — Кто бы мог подумать, что это не Ходзинский, а русская стрелецкая бомба!

Несколько пьяных солдат, лежавших на земле, услышав шум, перевернулись с одного бока на другой.

Феодосий ускакал.

— Как рад я, что ты возвратился, — говорил Илларион Феодосию. — Я без тебя был в большом затруднении. Все наши стрельцы хотели последовать примеру других городов и присягнуть Владиславу. Я с трудом удержал их и упросил подождать твоего возвращения.

— Кто внушил им эту мысль?

— Проезжал через наш город стольник Бахтеяров с грамотой боярской думы. Он прочитал ее стрельцам и жителям.

— Зачем же ты допустил его читать?

— Я не имел возможности остановить его. Он был у обедни. Выйдя из церкви на площадь и собрав около себя толпу, он начал читать грамоту, в которой содержалось увещание присягнуть скорее Владиславу. Остановить его значило бы возбудить еще большее любопытство и волнение в умах.

— Справедливо.

— Бахтеяров зашел потом ко мне и долго разговаривал со мной. Узнав, что мы держимся стороны царя Василия Ивановича, он пред-

лагал мне, именем начальника стрелецкого приказа, твое место и сверх того поместье в награду, если я наших стрельцов и жителей Углича приведу к присяге на верность польскому королевичу. Я с трудом убедил всех подождать тебя.

Феодосий обнял Иллариона.

Созвав стрельцов на площадь, Феодосий вышел к ним с Илларионом. Они встретили его громкими восклицаниями, как давно любимого начальника.

— Я слышал, друзья мои, что вы колеблетесь в верности вашей царю Василию Ивановичу и хотите присягнуть польскому королевичу?

Сотник Иванов выступил вперед и сказал:

— Я уполномочен говорить тебе, Феодосий Петрович, от лица всего нашего полка. Царь Василий Иванович сведен с престола и взят в плен. Королевичу Владиславу присягнула Москва и все остальные города, — для чего же нам одним держаться старой присяги? Если королевич Владислав избран в цари Москвою и всеми городами, то нас сочтут возмутителями и принудят присягнуть новому царю.

— А не клялись ли вы перед Богом стоять за царя Василия Ивановича до последней капли крови?

— Конечно, клялись. Но что же делать, если он лишен царского венца и взят в плен?

— Но справедливо ли поступили те, которые свели его с престола и предали в руки врагов?

— Говорят, что сам царь Василий Иванович в этом виноват: он отравил своего племянника.

— Это клевета, одно подозрение. А по одному подозрению нельзя обвинять не только царя, но и последнего из подданных.

— Он втайне велел убить и утопить более двух тысяч невинных людей.

— Я вам прочитаю грамоту святейшего патриарха, которую он разослал по Москве и во все города, когда изменники восстали против царя. Слушайте: "Во имя Бога нашего, которым живем, движемся и существуем, по воле которого цари царствуют и сильные содержат землю. Я, смиренный Ермоген, Божию милостью патриарх Москвы и всей Руси, напоминаю о себе вам, бывшим православным

христианам, которых ныне не знаю, как и назвать. Оставив свет, вы обратились к тьме, отступили от Бога, возненавидели правду, отпали от Церкви и изменили Богом венчанному царю, вами самими избранному. Разве не знаете вы, что Всевышний владеет царствами человеческими и дает их кому хочет? Преступив крестное целование и молитвы, вы, бывшие свободными, волею поработились иноземцам. У меня недостает слов! Сердце мое терзается! Пощадите, братья и дети, души свои! Вразумитесь и восстаньте! Вы видите, что отечество наше разоряется иноплеменниками, льется кровь невинных, вопиющая к Богу! На кого вы поднимаете оружие? Не на своих ли братьев единоплеменных? Не свое ли отечество разоряете? Мятжелюбные иудеи, в сороковой год по воскресении Спасителя, изгнали царя своего Ирода Агриппу, избрали другого и погибли от междоусобий. Пришли римляне, разорили Иерусалим и предали все огню и мечу. Того ли хотите вы? Да пощадит нас Господь! Он рек: не бойся, малое мое стадо, хоть много волн и грозит потопление, но не погибнут стоящие на камне веры и

правды. Пусть море пенится и бушует: сохранит Господь уповающих на него. Заклинаю вас именем Бога и Спасителя нашего отстать от вашего начинания. Мы будем молить Всевышнего, чтобы отпустил вины ваши; будем просить государя о даровании вам прощения: он милостив и не злопамятен. Он простил тех, которые в сыропустную субботу восстали на него и говорили ему ложные и грубые слова. Если же дойдет до брани, то знайте, что убитых с нашей стороны ожидает вечное блаженство, с вашей — вечные муки. Мы будем плакать о них: они братья наши. Но вам есть еще время обратиться. Можете обращением вашим подвигнуть небеса на веселие. Если радость бывает на небесах об одном грешнике кающемся, то какая же радость будет там о тьмах христианского народа? Восставшие на царя забыли, что царь Божьим изволением, а не сам собою принял царство и что всякая власть от Бога дается. Они забыли, что царь освободил нас от самозванца и спас веру нашу и всех нас от гибели. "Он велит втайне убивать, — говорили они о царе, — и бросать в воду дворян, детей боярских, жен и детей

их, и погубил уже более двух тысяч". Мы удивились словам их и спросили: когда и кто погиб таким образом? Они не могли назвать из двух тысяч ни одного по имени, и лживость обвинения их явно обнаружилась. Они стали потом читать грамоту, присланную русскими из литовских полков. В ней было сказано, что князя Василия Шуйского одна Москва выбрала на царство, а другие города о том и не знали; что за него кровь льется, земля в волнении, что надобно избрать нового царя. Мы возразили, что доньше никакой город Москве не указывал, а указывала Москва всем городам; что царь Василий Иванович избран всею Россией, всеми властями и чинами; что при его избрании были люди из всех городов русских. Но вы, забыв крестное целование, хотите свести его с престола. Вас, восставших, немного. Россия же не знает этого и не хочет. Мы сами с вами не соглашаемся. Итак, вы восстаете против Бога и воли всего народа. Мы же молим Всевышнего, что Он на многие годы сохранил на престоле возлюбленного им царя. Предки наши не только не впускали в Московское царство врагов, но сами летали,

как орлы, в отдаленные страны, на берега морей, и все покоряли царю московскому. Последуйте примеру предков ваших, возвратитесь на путь правды, восстаньте за Церковь, царя и отечество. Мы с радостью и любовью примем вас, и все прошедшее предадим забвению — и настанет в русском царстве мир, покой и благоденствие!"

— Вот что писал святейший патриарх, — сказал Феодосий. — Объявите мне теперь, хотите ли присягнуть Владиславу или, лучше сказать, Сигизмунду? Он не даст нам сына, а его именем хочет завладеть царствам русским.

— Да здравствует царь Василий Иванович! — воскликнули стрельцы. — Умрем за него, положим за веру, царя и родину наши головы!..

VIII

Феодосий разослал по разным городам грамоты, призывая в Углич всех преданных царю Василию. Между тем, Сигизмунд послал в Москву повеления боярской Думы, раздавал места, награждал поместьями, одним словом, начинал царствовать в России, маня всех неискренним обещанием пожаловать русским в цари Владислава.

— Боже мой! Боже мой! — говорила Лидия Евгении. — Когда кончатся эти смутные, несчастные времена? Я, конечно, не понимаю хорошенько, в чем дело, но замечаю, однако же, что все идет очень плохо; у всех такие постные лица. Впрочем, не от того ли это, что завтра наступает Великий Пост? Не говорил ли чего тебе, сестрица, Феодосий о делах? Как они идут? Мне он ничего не объясняет; я уже несколько раз его спрашивала.

— Да, Лидия. Мы живем во времена незavidные. Царь наш в плену; ты, я думаю, это знаешь?

— Слышала об этом. Впрочем, ему в Польше будет веселее жить, чем здесь. Помнишь

ли, как мы там веселились?

— Ах ты, глупенькая! Ты по себе судишь.

— Да почему же ему там не повеселиться, пока его не отобьют у поляков. Феодосий ведь говорил, что русские во что бы то ни стало освободят царя. О чем же ему горевать?

— Сколько крови должно пролиться из-за этого! Долго еще ждать нам счастливых, радостных дней!

— У тебя все печальные мысли. Оставим этот разговор. Скажи лучше, скоро ли твоя свадьба?

— Теперь не то время, чтобы об этом думать.

— Как не то? Ах, да, я и забыла, что завтра наступает Великий Пост.

— Пост и пройдет, но свадьбы моей ты не дождешься. Вероятно, Илларион и Феодосий не будут уже тогда в Угличе.

— Да где же они будут?

— В походе.

— Ну вот, опять поход! Только и слышишь про походы! Как они мне надоели!

— Что делать, Лидия. Будем молиться Богу, чтобы послал скорее России мир и тишину.

— А знаешь ли что, сестрица? Где мы будем завтракать и есть блины сегодня? Отгадай.

— В большой нашей комнате, я думаю. Где же нам завтракать?

— Нет, ты не отгадала. Какой чудесный вид оттуда на Волгу и во все стороны! Я думаю, оттуда верст на десять все кругом видно, как на блюдечке.

— Я не понимаю тебя.

— Видишь ли ты эту угловую башню, к которой примыкает этот вал, а с другой стороны каменная стена?

— Вижу.

— Мы в этой башне будем завтракать.

— Как же это?

— Уверяю тебя. Феодосий любит ходить по стене и по валу и смотреть на свои любезные пушки. Верно, и теперь он там бродит с Илларионом. Я и вздумала зазвать их в башню и удивить неожиданным завтраком. Надобно же стараться развеселить их чем-нибудь: они оба все такие грустные.

— Проказница! Как же ты это придумала? Как тебя часовой пропустил на башню?

— Меня-то не пропустить — сестру начальника крепости! Он, было, в самом деле не пускал нас туда, то есть, меня и кухарку нашу, Сидоровну, но я так на него крикнула, что он совсем струсил. "Как ты смеешь, негодный, нас останавливать, — сказала я ему, — если нас послал твой начальник? Разве ты не знаешь, что я его сестра?"

— Что же там делает теперь Сидоровна?

— Да, я думаю, уже блины печет.

— Блины печь в крепостной башне! — сказала Евгения, засмеявшись. — Чего только тебе не придет в голову! Феодосий, верно, расхохочется.

— А мне это и нужно. Пусть он хоть ради масленицы посмеется с Илларионом. Мне уже наскучило смотреть на их нахмуренные брови. Я, право, даже забыла, какая у них улыбка, и кто из них приятнее улыбается.

— Но, кажется, мы останемся без блинов. Где их печь в башне?

— Мы с Сидоровной нашли там какую-то дрянную печку, в маленькой комнате с четырьмя узкими окошками. Часовой сказал нам, что в этой печке в старину ядра калили.

А мы будем в ней блины печь. Сидоровна уже принесла вязанку дров и развела огонь. Вон, посмотри: какой там дым идет из башни. Пойдем же, сестрица, отыщем Феодосия с Илларионом и заманим их к нашему завтраку.

Они вышли из дому, Феодосий в самом деле ходил по валу с Илларионом. С ними был еще их близкий знакомый, угличский торговый человек Алексей Матвеевич Горов, седой, почтенный старик.

В то время, когда Евгения и Лидия подошли к ним, Горов, большой охотник до пословиц, отвечая на что-то сказанное Феодосием, кивнул печально головой и сказал:

— Да, да, Феодосий Петрович! Видим мы и сами, что кривы наши сани. Но унывать не надобно. Голенький ох, а за голенького Бог. Может быть, и подойдет к тебе еще подмога.

— Неужели в самом деле суждено нашей родине быть под игом Сигизмунда? — сказал Илларион. — Быть не может! Русские не потерпят этого. Думный дворянин Ляпунов, как слышно, собирает в Рязани сильное войско и хочет идти к Москве, чтобы освободить ее от поляков и приступить к избранию царя всею

русскою землею.

— Дай Господи, чтобы это была правда, — примолвил Горов. — Сейчас ничему хорошему не веришь — такие времена!

— Что это? — воскликнул Феодосий. — Посмотрите, какой-то дым вьется около башни. Что там могло загореться?

— Батюшки мои! — отозвался Горов. — И впрямь на пожар похоже!

Все поспешили к башне.

— Это не пожар, — сказала Лидия. — Ты напрасно беспокоишься, Феодосий.

— Что же это, по-твоему?

— Это... так, просто дым идет, но пожара никакого нет. Я тебе в этом головой ручаюсь. Да не спеши ты так! Посмотри, мы с Евгенией совсем запыхались. К чему такая спешка! Поверь, это не пожар.

— Как тебе не поверить.

Все вошли в башню и по узкой лестнице поднялись в верхнюю небольшую комнату. Там был накрыт маленький столик, на котором стояли завтрак, большая кружка наливки и несколько серебряных чарок.

— Что это такое? — удивленно спросил Фе-

одосий, осматриваясь.

— Блины готовы, матушка! — отрапортовала Сидоровна Лидии. — Кажется, хорошо получились.

Все засмеялись.

— Что за проказница! — продолжал Феодосий, нежно потрепав Лидию по щеке.

Сели завтракать. Несколько чарок наливки разогнали мрачные мысли мужчин. Как лучи солнца, проникавшие сквозь узкое окно в темную комнату башни, засияла в их душах надежда. Давно уже не были они так веселы.

— Все перемелется, мука будет! — говорил Горюх, наливая чарку и любуясь переливами темно-красной наливки на золотой внутреннейности сосуда. — Слышно, что рязанцы, туляки, калужцы, нижегородцы, новгородцы крепко пошевеливаются. Сигизмунду несдобровать! Царя нашего выручим из плена...

— Москва, между тем, во власти поляков! — вздохнул Феодосий.

— Ненадолго! — продолжал Горюх. — Я был там недавно. Что за кутерьма там! Толку не добьешься! Истинно, не знаешь, чего хотят. Один стоит горой за Владислава, другой — за

Сигизмунда, третий — за пленного царя, четвертый кричит громче всех, а сам не знает, о чем. Бояре не доверяют полякам, поляки боярам, и никто дела не делает. Выходит, как говорят старые люди, боярин повару не верит, сам по воду ходит.

— Что это за войско направляется сюда? — вдруг сказал вполголоса Феодосий, глядя в окно башни. — Вон там, вдали.

— Наверное, полки идут к тебе на подмогу, — заметил Горов. — А ты горевал, что все забыли пленного царя.

— Посмотри, Феодосий, — сказал Илларион, — с того холма пушки съезжают. Кажется, глаза меня не обманывают?

— Точно, пушки.

Лидия и Евгения смотрели в другое окно, на Волгу, и любовались, как с ледяной горы мелькали по льду, мимо башни, санки катающихся.

Вдруг отворилась дверь, и вошел сотник Иванов с тревогой на лице.

— Что скажешь? — спросил Феодосий.

— Сюда идут поляки, — ответил тот шепотом.

— С какой стороны?

— Я был на другом конце крепости и там с башни их увидел.

— Стало быть, они идут с двух сторон. Но поляки ли это? Пошли нескольких гонцов в разные стороны, а между тем вели всем стрельцам быть готовыми и заряжать пушки. Не забудь запереть все ворота и поднять мосты. Дай знать гуляющим теперь за городом и жителям предместий, чтобы все скорее шли в крепость.

Евгения и Лидия ничего не слышали из этого разговора, продолжая смотреть на Волгу.

— Посмотри, посмотри, сестрица! — сказала Лидия, захохотав, — как этот толстяк свалился с санок и перевернулся. Бедняжка попал головой прямо в сугроб. Слышишь ли, как все там на льду хохочут? А вот поплыли на большом лубке две купчихи. Как они только лед не проломают! Ну, и они завертелись... а вот и свалились. Пойдем, сестрица, покатаемся.

— Давай, если хочешь. А ты не боишься упасть в снег?

— Я съеду не хуже вон того молодца, в бархатной шапке, который сейчас так быстро катится, будто птица летит. Может, невеста на него смотрит, а он думает; пусть она любуется своим суженым.

— Батюшки-святые! — говорил Горов. — Беда неминуемая: их, окаянных, много сюда идет, и пушек у них достаточно. Помилуй нас, грешных, Господи!

— Что ты испугался, Алексей Матвеевич, — сказал Феодосий вполголоса. — Хоть бы их было вдвое больше, крепость нелегко взять. Я тебе в этом ручаюсь. Успокойся!

— Да ведь они и с другой стороны идут.

— Ну что же такого, защитимся. Да перестань же вздыхать, ты перепугаешь...

Он тихонько указал на Евгению и Лидию.

— Позволь нам с сестрицей на горе показаться, — сказала Лидия Феодосию. — Как весело птицей летать по льду! Ты уж верно с нами не пойдешь. Нас бы туда Илларион проводил.

— Что случилось? — закричала вдруг Евгения, продолжая смотреть в окно. — Все там на льду как будто испугались чего-то. Все бегут,

крестятся, машут руками. Странно! Что их вдруг так встревожило?

— Они услышали, что сюда идет ничтожный отряд поляков, — сказал Феодосий. — Есть чего пугаться!

— Боже мой! — в один голос вскрикнули Евгения и Лидия.

— Только не пугайтесь! — продолжал Феодосий. — Это к вам не относится. Они еще далеко, и мы успеем покататься на горе. Пойдем, Лидия, ты ведь хотела кататься.

— Нет, нет, ни за что!

— Ну, может, ты пойдешь со мной, Евгения?

— Не ходи, не ходи, сестрица! Поляки тебя изрубят!

— Станут они рубить таких хорошеньких девушек! Они скорее протанцуют с вами мазурку. Но сначала мы с Илларионом заставим танцевать незваных гостей и проводим отсюда. Так ли, Илларион?

— Без сомнения. Крепость нашу взять нелегко. Не бойся, моя милая! — прибавил он, взяв Евгению за руку. — Ты дрожишь? Ах, стыд какой!

— Я боюсь не за себя, Илларион. Мне страшно за тебя... и за Феодосия.

— А мне и за себя, и за всех страшно, — сказала Лидия, чуть не плача. — Проклятые эти поляки! Кто их просил сюда приходить!

В это время Сидоровна, стоявшая безмолвно у печки со сложенными руками, поняла, наконец, в чем дело, и подняла такой плач с причитаниями, что и Горюх, ободренный Феодосием, опять завздохал и заохал.

— Пойдем домой скорее, — сказал Феодосий Евгении и Лидии. — Ох вы, зайчики пугливые! Да замолчи, ради Бога, Сидоровна!

— Вот и Углич! — говорил Струсь полковнику Каганскому, указывая на крепость.

— На стенах у пушек курятся фитили, — заметил тот. — Видно, готовы к обороне. Мы здесь, за этими холмами, остановимся, пока ставят туры и готовят укрепления для осады. Между тем надобно занять все дороги и окружить крепость со всех сторон.

Он слез с лошади. Струсь последовал его примеру. К ним подошли другие ротмистры и офицеры.

— Прикажете солдатам ставить палатки. Вот здесь будет главная моя квартира, — продолжал Каганский, указывая на деревянный дом, стоявший у подножия холма возле дороги. — А не худо, господа, позавтракать. Я, признаюсь, проголодался. После завтрака составим план осады. Держите наготове карту крепости.

Пан Струсь отдал приказ о завтраке. Каганский, в сопровождении офицеров, вошел в дом, где не было ни души. Жильцы разбежа-

лись. Двери были прикрыты, сундуки распахануты. Что было возможно унести, все унесено.

— Видно, эта красавица бежала отсюда, не помня себя от страха, — сказал Струсь, поднимая концом сабли с пола шелковую фату и женский башмак, вышитый серебром. — Она все свои наряды впопыхах растеряла. А, вот и завтрак несут. Сюда, сюда ставьте, на этот большой стол. Я начну, полковник, и пью за здоровье бежавшей красавицы из ее башмачка.

— Ну, воля ваша, я из этого башмака пить не стану. Может быть, его обронила с ноги какая-нибудь старая ведьма.

— Быть не может! — возразил Струсь. — Я знаток в этом деле. Чертов хвост! Такой маленькой, хорошенькой ножки не может быть у старой ведьмы. По башмаку я вижу, что она красавица из красавиц. Милочка!

Вместе с этим нежным восклицанием он поцеловал концы сложенных своих пяти пальцев.

— Уж вы, пан Струсь, кажется, в нее влюбились?

— Почти так. Она, верно, убежала в крепость. Дьявольская бомба! Тем храбрее я буду драться при осаде, отыщу ее в крепости и возвращу ей башмаки и фату, а за это велю себя поцеловать двенадцать раз кряду... Какой удивительный соус! Это, кажется, цыплята? Наш полковой повар — лихой малый! Однако же соус не худо запить. Ваше здоровье, полковник!

После завтрака Струсь пошел осматривать все комнаты дома. В верхней светлице он увидел кровать с периной, нашел гребень на окошке и под кроватью женский чулок. Он развалился на перине и начал расчесывать гребнем свои усы.

— Что это вы, пан! — сказал Каганский, входя с несколькими офицерами в светлицу. — Вы уже спать хотите?

— Нет, полковник! Это постель моей красавицы. Здесь недавно лежала она, а теперь лежу я. Какое блаженство! Что может быть лучше войны! Воин везде гость и хозяин. Все ему позволено, все возможно.

— Возможно даже поваляться на чужой перине — удивительное счастье! Однако же не

пора ли нам начать совет? Времени терять не для чего.

— Я готов, — сказал Струсь, спрыгивая с кровати.

Все спустились вниз и сели к тому самому столу, на котором перед этим завтракали, составив с него на окошко посуду и пустые бутылки.

— Вот, господа, план крепости. Войск в ней около трех тысяч. Съестных и боевых припасов не может быть много, потому что не ждали нас. Что лучше: долговременная осада или штурм?

— Штурм, непременно штурм! — воскликнул Струсь.

— А почему? Впрочем, позвольте, ротмистр, сначала высказаться младшим офицерам.

— Пусть говорят, что хотят, а я говорю — штурм!

Другие ротмистры и офицеры начали высказывать свое мнение. Струсь перебивал всех и твердил: штурм.

— Да, позвольте, ротмистр...

— Ничего не позволяю и слушать ничего

не хочу. Штурм, с подкопами и с позволением солдатам воспользоваться военной добычей после взятия крепости.

— А я думаю иначе, — сказал Каганский. — Долговременная осада вернее поведет к цели и с меньшей потерей людей. Притом грабить жителей, значит, ожесточать их против нашего короля. Это было бы противно его видам.

— А долговременная осада, — возразил горячо Струсь, — противна пятьдесят третьему артикулу королевского универсала 1492 года и конституции 1598 года, известной под названием "Прусская Корректурa". В этих законах принято считать того трусом, кто предпочитает долговременную осаду штурму.

— Считать трусом? Не советую, ротмистр, повторять вами сказанного.

— Трусом, трусом!

— Вы сами, ротмистр, трус! — закричал взбешенный Каганский. — Прошу вас покинуть наш совет! Мы без вас все решим. Вы не даете никому слова сказать. Прошу вас выйти в другую комнату!

— Не угодно ли вместе с вами! Мы можем

там разобраться на саблях.

— Вы вызываете меня, вашего начальника, на дуэль в военное время? Знаете ли вы, что за это определено законом? Одумайтесь и, прошу вас, идите в другую комнату, а не то...

— Хорошо, я выйду, — сказал оробевший Струсь, — но не соглашусь ни за что на долговременную осаду.

Лишь только Каганский успокоился и начал рассуждать с офицерами, Струсь отворил дверь и опять вошел в комнату. Каганский, вне себя, вскочил:

— Вы издеваетесь надо мной!

— Позвольте, полковник, не горячитесь понапрасну. Я сейчас опять выйду. А появился я здесь затем, чтобы напомнить вам и господам офицерам, что двадцать шестым пунктом сеймового постановления 1521 года предписано не считать трусом того, кто, заспорив с начальником, уступит ему и выйдет из комнаты. Я только хотел напомнить вам об этом законе, который исполняю и потому выхожу. Но, будьте уверены, что не из робости. Дьявольская бомба! Я самого черта не испугаюсь.

Сказав это, он вышел. Каганский пожал плечами, а все офицеры засмеялись.

Совет решил: обложив крепость, вступить в переговоры с осажденными. Потом, если они не сдадутся и не согласятся признать себя подданными короля, начать штурм ночью. Но в случае сильного сопротивления или неудачи отступить и начать долговременную осаду.

Все встали со своих мест. Струсь, услышав шум отодвигаемых от стола скамеек, догадался, что совет закончился, и вошел в комнату.

— Чем решено дело, полковник? — спросил он.

— Решились на долговременную осаду.

— Помилуйте!..

Он засыпал полковника пунктами сеймовых постановлений и артикулами статусов, доказывая, что должно начать дело штурмом и позволить войску воспользоваться военной добычей. Надобно вспомнить, что промотавшийся Струсь, как было уже сказано, отправился в поход со всей своей голодной дворней единственно для того, чтобы добычей поправить свое состояние и разбогатеть. Эта глав-

ная мысль произвела в нем обычный его припадок рассеянности, и он, продолжая спорить и даже угрожать полковнику, хотел выйти с видом оскорбленного достоинства из комнаты, подошел к окну, взял вместо своего шишака круглую оловянную крышку от соусника, которая имела с его шишаком некоторое сходство, и надел ее на голову. Остановившись в дверях и оборотясь к Каганскому, он оперся на свою саблю и принял положение, которое воображал важным и величественным.

— Если вы после этого не убеждены... — начал он.

Каганский и все офицеры покатались со смеху — настолько Струсь был уморителен. Этот общий взрыв хохота смутил его.

— Что вы находите во мне смешного, господа? — сказал он, нахмутив брови и стараясь придать своему положению еще больше важности и достоинства.

— Посмотрите, ротмистр, что у вас на голове, — сказал Каганский.

Струсь торопливо снял свой оловянный шлем и уронил его на пол от смущения.

— Чертов хвост!

Больше он ничего сказать не мог, схватил свой настоящий шишак и убежал. Два дня нигде его не могли отыскать. На третий он явился с принужденной улыбкой на лице и чуть было не придумал артикул сеймового постановления, которым строго запрещалось в военное время находить что-нибудь смешное в металлической крышке соусника, надетой кем-либо на голову вместо шишака.

На колокольне Преображенской соборной церкви раздался звон колокола, и жители Углича собрались на площадь, которая окружала храм. На церковной паперти стоял Феодосий и держал в руке бумагу. Все смотрели на него и, в молчании, с беспокойством на лице, ожидали, что он скажет.

— Начальник неприятельского войска, — начал Феодосий, — прислал мне грамоту. Я созвал вас, дорогие сограждане, чтобы прочесть вам ее и посоветоваться с вами, что ответить ему. Вот его грамота: "Преименитый и Богом спасаемый город Углич! Почтенному господину стрелецкому атаману Феодосию Алмазову со всеми гражданами здравствовать! Повелением великого государя Литовского, Божьей милостью короля польского, я, пан Каганский, до вас эту грамоту посылаю, чтобы уверить вас, что жителям города никакой обиды сделано не будет. Государь король, по закону христианин, городов разорять не повелевает, но сами города созидает, чтобы в них вера христианская умножалась, а не

оскудевала. Он под клятвою запретил своим воинам разорять города христианские. Неужели вы, забыв страх Божий, захотите кровопролития? Король послал нас сюда не с войной. Он желает только, чтобы вы, как подданные его, присягнули ему в верности. Вам известно, что бывший царь ваш лишился престола и что царство его поручено Богом нашему королю. Если вы захотите упорствовать, то я принужден буду, против желания моего, пойти на вас. Я сам христианин, и желал бы от всего сердца избежать кровопролития и разорения города. Живите в нем спокойно, свободно исповедуя русскую веру свою, спокойно владея своим имуществом. Сдайте город добровольно, отпустите стрельцов, окажите послушание королю, какое прежнему царю оказывали. Под его властью живите счастливо, моля Бога за короля, который будет награждать достойных из вас почестями и оказывать всем милость и покровительство. Если не сдадитесь, то не я дам Богу ответ за пролитие крови христианской и за гибель города: да взыщет Бог эту кровь на вас в день последнего суда!"

— Что скажете на это вы, дорогие сограждане?

Поднялся общий шум. Вся площадь заволновалась. "Не хотим короля! — кричали тысячи голосов. — Не боимся угроз его! Не верим льстивым словам неприятелей! Умрем, по крестному целованию, за царя Василия Ивановича! Отстоим город святого царевича Дмитрия!"

— Мы все сооружимся, Феодосий Петрович! — сказал Горов. — Что они думают, эти нечестивые литовцы! Собором и черта поборем, говорят старые люди.

Феодосий послал Каганскому краткий ответ. "Жители Углича не хотят и слушать о короле. Хоть царь наш попущением Божиим в руках ваших, но мы не изменим ему, до последней капли крови будем защищаться. Возьми крепость, если можешь, и знай, что рассыплешь ее твердые стены и башни скорее, чем поколеблешь в нас верность царю и любовь к отечеству".

Каганский собрал опять совет. Когда прочитали письмо Феодосия, пан Струсь первый закричал: "Штурм, сейчас же штурм, и нико-

му пощады!"

— Не горячитесь так, ротмистр! — сказал полковник. — Это следует обдумать.

— Не намерены ли вы после такого оскорбления начать долговременную осаду?

— Нет. Я считаю удобнее сделать приступ к крепости ночью, и назначаю вас в передовые. Вы должны первые с сотней самых отважных взобраться на крепостной вал и там держаться. За вами и мы взойдем. Вы призадумались, кажется?

— Я призадумался! Ничуть! Берусь взойти первый. Чертов хвост! И не в таких бывал я опасностях.

— Итак, вы пойдете вперед, а вы, господа, — продолжал Каганский, обратясь к прочим офицерам, — велите готовить лестницы и все, что нужно для приступа. Вал в одном месте невысокий и защищен очень слабо. Ров засыплем фашинами. Только не надо подавать виду, что мы готовимся к приступу. Нападение должно быть начато врасплох, когда ночь наступит. Я уверен, что завтра утреннее солнце осветит уже королевское знамя на этой высокой башне, которая теперь смотрит

на нас так грозно.

Евгения весь тот день была задумчива и печальна. Лидия несколько раз принималась плакать. Феодосий шутил и старался их ободрить. Он беспрерывно уходил на стены и часто посылал туда Иллариона. Перед наступлением ночи они оба воротились в дом.

— Я думаю, вам и сон на ум не идет? — спросил Феодосий, улыбаясь, Евгению и Лидию.

— Какой теперь сон! — отвечала последняя. — Я всю ночь спать не буду.

— И очень плохо сделаешь. Мы с Илларионом сейчас уходим в свою комнату и уснем богатырским сном. Советовал бы и вам последовать нашему примеру. На стенах расставлена стража: бояться совершенно нечего. Если вы даже услышите несколько выстрелов, то, ради Бога, не пугайтесь. Ночью нарочно наши будут стрелять, чтобы неприятель видел, что мы готовы их встретить. Они не осмелятся и на версту подъехать к крепости. Да и мы с Илларионом будем недалеко от вас, всего через две комнаты. Желаю вам спокойной ночи... Пойдем, Илларион! Смотрите же, прошу не

трусить и не тревожить нас по-пустому. Мы оба ужас как устали, и нам нужен отдых.

— Как ты думаешь, сестрица, — сказала Лидия, когда Феодосий и Илларион вышли из комнаты, — спать нам или нет?

— Как хочешь, Лидия.

— Кажется, бояться, нечего? Феодосий не стал бы спать, если бы была какая-нибудь опасность. У меня, признаюсь, глаза так и слипаются.

— Помолимся Богу и ляжем, — сказала Евгения. — Я вряд ли усну. Тем спокойнее ты можешь спать.

— Только раздеваться не надо, сестрица, — прибавила Лидия, — вдруг придется бежать.

— Куда же мы убежим, Лидия?

— Куда-нибудь. Боже мой, Боже мой! В самом деле, бежать некуда: крепость окружена со всех сторон. За что нас эти проклятые так мучают? Что мы им сделали? Ах, как мне плакать хочется!

— Полно, Лидия, положишься на Бога. Он защитит нас. Слышишь ли, какая тишина во всем городе. Чего ты боишься? Я ложусь, Лидия.

— Я возле тебя лягу: мне не так страшно будет.

Она положила голову на пуховую подушку, обняла сестру и вскоре заснула глубоким сном. Щеки ее разгорелись, дыхание полуоткрытых губ было прерывисто и часто. И сон не мог прекратить ее душевной тревоги. Евгений, облокотясь одной рукой на изголовье, смотрела на Лидию, — и крупные слезы иногда падали с длинных ресниц девушки. Невольно глаза ее поднялись к небу, и она начала молиться.

— Кажется, они уснули, — сказал шепотом голос за дверью. — Пойдем скорее!

Послышался легкий шелест шагов, и вскоре все затихло. Это нисколько не смутило Евгению. Она знала, что это будет, и давно уже догадалась, что Феодосий с Илларионом проведут ночь на стенах крепости. Тяжелый вздох вырвался из ее груди. Не смыкая глаз, глядела она в окно, которое находилось прямо против ее кровати. Сквозь стекла видно было одно небо, черное, как дно бездны; его обложили густые черные тучи. Прошло около часа, тучи стали редеть, раздвигаться, и в ок-

не Евгении заиграла одна звезда своими алмазными лучами. Евгения засмотрелась на нее. "Звездочка, звездочка! — подумала она. — Высоко ты катишься на небе, далека ты, безопасна от горя и бед Земли! Как бы желала я улететь к тебе, утонуть в твоих лучах сияющих. Не на тебе ли скрывается счастье, спокойствие, которых мы, бедные жители Земли, всю жизнь напрасно ищем? Но к чему роптать? Тот, кто создал эту небесную звезду, создал и меня. Без воли его не упадет она с неба; без воли его не упадет волос с головы моей. О! Какую неизъяснимую радость, какое непонятное спокойствие пролила ты мне в сердце, звездочка! Мне кажется, лучи твои приносят на землю что-то небесное и на неведомом, таинственном языке шепчут нам: "Дети Земли! Любите Творца, любите друг друга!"

Вдруг по тучам, клубившимся около звезды, пробежал красный блеск, похожий на зарницу, и через несколько мгновений грянул пушечный выстрел.

— Боже мой! — закричала Лидия в испуге, быстро приподнялась с подушки и упала в объятия сестры.

— Успокойся, милая, ты разве забыла, что говорил Феодосий: это наши стреляют.

Лидия дрожала и прижалась лицом к плечу Евгении.

Раздался другой выстрел, третий; стреляют все чаще, все громче. Загрохотала ружейная пальба. Послышался отдаленный, смутный шум, крик, восклицания.

Лидия вскочила с кровати и бросилась в комнату Феодосия. Вскоре прибежала она назад, ломая руки.

— Их там нет, они ушли! — восклицала она. — Мы здесь одни с тобой! Что нам делать?

— Молиться.

— Я не могу молиться, Евгения. Ах, душенька моя, спрячемся куда-нибудь, убежим!

— Чего ты боишься, Лидия? Феодосий ведь успокоил нас.

— Нет, нет! Я знаю, что это стреляют неприятели, что началась битва. Слышишь ли, как кричат, как стонут раненые?

— Тебе все это чудится.

— Я побегу к Феодосию, пусть он защитит нас.

Сказав это, она бросилась из комнаты.

— Куда, куда, Лидия?

Евгения поневоле должна была бежать вслед за ней. Они сошли с крыльца на площадь.

— Куда это вы собрались? — спросил Горюхов, остановившись перед ними.

— Ах, Алексей Матвеевич! — взмолилась Лидия, — защитите, спасите нас!

— Не бойтесь, матушка, Бог милостив! Наши отобьют окаянных. Стрельба — похвальба, а борьба — хвастанье, говорят старые люди. Видно, они, проклятые, хотели, было, подъехать врасплох, да нет, Феодосия-то Петровича не проведешь! Старого воробья на мякине не обманешь, говорят старые люди. Он их знатно принял, голубчиков!

— А если они одолеют!

— Вот уж и одолеют! Признаться, и я, как пушки загрохотали, трухнул немножко сначала, вскочил с кровати и вооружился на всякий случай, как видите. Только грех со мной случился. Выбежал я на улицу, чтобы идти к стрельцам на подмогу, гляжу: за кушаком у меня сабля, а вместо пищаля в руке кочерга!

В комнате-то, изволите видеть, было темно-то, так, видно, я впопыхах и схватил кочергу. Не знаю, как она, проклятая, мне под руку попала. Метил в сыча, а попал в грача, говорят старые люди. Хотел, было, сейчас воротиться домой за пищалью, да вот с вами повстречался. А впрочем, нет нужды. Я и кочергой двух-трех поляков зашибу, если дойдет до драки. Да куда же это вы идти изволите?

— Ах, как стреляют! Куда бы нам убежать, Алексей Матвеевич?

— Да куда убежишь, матушка? Кругом все враги. Под землю не спрячешься. Не угодно ли разве вам с сестрицей ко мне пожаловать?

— Мне кажется, нам не так было бы страшно, если бы мы могли видеть сражение, — сказала Евгения.

— Это правда, матушка. Мне бы и самому взглянуть хотелось, что делают наши. Да откуда увидишь? Разве что взобраться на башню?

— Пойдем, пойдем на башню! — вскричала Лидия. — Там, кажется, всего безопаснее: она такая высокая. Я думаю, ядро или пуля не может долететь до ее верха, Алексей Матвее-

вич?

— Ну, матушка...

— А что, разве может долететь?

— Где долететь! Не долетит. Пойдем туда, если угодно.

— А не может расшибить башни ядро? Скажите правду, Алексей Матвеевич.

— Куда расшибить! Не расшибет.

Они взошли на ту самую башню, где Лидия еще недавно готовила завтрак с Сидоровной. В это время на прояснившемся востоке появилась заря и осветила поле битвы. Лидия и Евгения подошли к окну, Горов к другому.

— Мне теперь не страшно, — говорила Лидия, тихонько пятясь от окошка. — Я думала, что ужас возьмет, когда взглянешь на сражение, но, кроме дыма, я ничего пока не вижу.

— Да под дымом-то что, матушка! — заметил Горов, вздохнув.

— А вон там на стене Феодосий! Точно он! — вскричала в восторге Евгения.

— А где-то Илларион? — добавила Лидия, печально покачав головой.

— А вон, матушка! Извольте видеть, саблей-то помахивает.

— Ура! — раздалось вдали.

— Что это кричат? — спросила Лидия, в испуге отскочив от окошка.

— А это, матушка, значит, что наша взяла. Слава Тебе, Создателю!

Евгения и Лидия упали на колени и, сложив руки, подняли глаза к небу.

Пан Струсь сдержал свое слово. В то время, как в разных местах кипело сражение, ему удалось первому, после множества усилий, взойти на вал. За ним вскарабкались несколько десятков польских удальцов. Они овладели двумя пушками и повернули уже их, направив во внутренность крепости. Но Феодосий, увидев опасность, подоспел с отрядом стрельцов. Завязалась жестокая битва. Вскоре вал был очищен. Феодосий, узнав Струсю, пощадил его; он только вышиб у него из рук саблю и толкнул с вала, который был довольно отлог. Пан покатился, как кубик, и был остановлен в падении уступом вала.

— Чертов хвост! — воскликнул он, кряхтя и поднимаясь на ноги.

Уступ был узок. Пан, оступившись, покатился снова и попал в ров.

— Дьявольская бомба! — проворчал он, вытаскивая руки и ноги из снега.

Между тем били уже отбой. Осажденные сделали сильную вылазку, и поляки отступали. Пан Струсь, видя толпу бегущих, выскок из рва с легкостью невероятною и пустился по тюлю такой рысью, что первый королевский скороход, глядя на него, повесился бы от зависти.

Прошло несколько недель. Полковник Каганский не предпринимал ничего важного, щадя жизнь солдат и надеясь переговорами склонить Феодосия к сдаче крепости. Именем короля он обещал ему за то богатую награду. Нужно ли говорить, что тот с негодованием отверг его предложение.

— Без штурма дело не обойдется, — говорил пан Струсь. — Я давно это твержу. Да и вольно вам, полковник, поручать переговоры людям, которые вовсе к тому не способны.

— Попробуйте вы, ротмистр, переговорить с начальником крепости, — сказал Катанский. — Посмотрим на ваше искусство!

— Пускай пан Струсь докажет свое убедительное красноречие, — промолвили насмешливо прочие офицеры.

— А что вы думаете, господа, не докажу, что ли? Дьявольская бомба! Конечно, не могу ручаться наверное за успех, однако же...

— Я вам очень буду благодарен, ротмистр, — сказал Каганский. — Уполномочиваю вас вступить в переговоры на известных

уже вам основаниях.

— Извольте! Сейчас же отправляюсь. Теперь утро, надеюсь, что к обеду мы будем в крепости праздновать ее сдачу.

Струсь, в сопровождении трубача, подъехал к крепостным воротам и, после обычных знаков, был впущен в Углич.

Войдя в дом Феодосия, Струсь в первой комнате встретил Лидию и так был поражен ее красотой, что едва не вскрикнул от удивления и удовольствия. Лидия, увидев его, испугалась и хотела убежать, но, ободренная учтивым, низким поклоном Струся, остановилась и спросила: кого ему надобно?

— Мне нужно говорить с начальником крепости, — сказал Струсь не совсем чисто по-русски. — Я прислан к нему с важным поручением от полковника Каганского.

— Не угодно ли вам подождать его здесь? Я сейчас его позову.

Лидия вбежала в комнату, где был Феодосий. Сидя у окна, он видел, когда Струсь подъехал к крыльцу. Илларион и Евгения ходили по комнате и разговаривали.

— Тебя спрашивает какой-то поляк, при-

сланный Каганским, — сказала Лидия Феодосию. — Ему нужно говорить с тобой о важном деле.

— Без сомнения, опять дружеские предложения, — заметил Илларион. — Это добрый знак! Видно, они убедились, что взять крепость трудно.

— Это приехал пан Струсь. Я его знаю, — сказал Феодосий. — Мне не о чем с ним говорить. Я не вступлю ни в какие переговоры, пока они не отступят от крепости. Скажи ему это, Лидия.

— А если он хочет сказать тебе что-нибудь хорошее? Мне страх хочется узнать, зачем он приехал. Это очень любопытно. Очевидно, что они трусят, когда так часто к тебе забегать начали.

— Пожалуй, поговори с ним, если тебя любопытство мучит. Уполномочиваю тебя кончить с ним дело, как тебе вздумается. Согласись, пожалуй, и на сдачу крепости, но с тем условием, чтобы вы оба прежде принудили меня сдать вам ее. Ну, поди же, начинай с ним переговоры.

— А ты думаешь, что я боюсь его? Совсем

не боюсь! Он такой учтивый. Пойду, скажу ему твой ответ и спрошу, зачем он приехал.

Лидия вышла опять к Струсю.

— Начальник крепости не может принять вас, — сказала она. — Он поручил мне переговорить с вами.

— За эту насмешку!.. — вскричал Струсь, вскочив со скамьи и обнажив до половины саблю.

Лидия перепугалась, хотела бежать, но Струсь взял ее за руку.

— Ну рубите, рубите мне голову, если вам не стыдно! — сказала она по-польски плачевным голосом. — Не много вам будет чести убить беззащитную девушку.

— Что слышу! — вскрикнул Струсь. — Русская красавица умеет говорить по-польски!

— Умею, к вашему сведению.

— Падаю к ногам вашим! Язык наш в устах прекрасной девушки сладкозвучнее гармонии небесной! Прошу вас, панна, успокойтесь, сядьте и сделайте одолжение, поговорите со мной на родном языке. Какая приятная неожиданность!

Они сели у окна. Струсь расспросил Ли-

дию, где она научилась польскому языку, как зовут ее, сколько ей лет, одним словом, засыпал ее вопросами. Ответы Лидии восхитили, обворожили Струся. Ему показалось, что он никогда еще так не влюблялся. — Непременно предложу ей руку, — думал он, любуясь каждым взглядом девушки, каждым ее движением. Он так размечтался, что совсем позабыл, где он находится и с каким послан поручением. На него нашел жестокий припадок его рассеянности.

Феодосий, Илларион и Евгения, удивляясь, что переговоры длятся уже более часа, подошли неслышно к двери комнаты, и, вслушавшись в разговор пана Струся и Лидии, расхохотались.

— Вы говорите, что весело жили в Польше? — спрашивал Струсь. — Не откажетесь снова туда отправиться?

— Не знаю, что вам отвечать на это. Может быть, мне от того было весело, что я была моложе.

— А теперь вы разве состарились, панна? Я обрублю тому уши, кто это подумать осмелится! Что же вам особенно нравилось в Польше?

— Мазурка.

— Мазурка! О, в самом деле, бесподобный танец!

— Вы, верно, ее прекрасно танцуете, пан?

— Не дурно.

В это время тонкий слух Лидии помог ей услышать за дверью смех Иллариона и Феодосия, несмотря на то, что они старались смеяться как можно тише. Это поощрило ее. Заметив, что пан Струсь от нее без ума, она решила позабавиться над ним для собственного удовольствия и для возбуждения большего смеха в скрытых за дверью свидетелях ее проказ.

— Я так давно не танцевала мазурку, — сказала она печально. — Я думаю, совсем забыла ее. Исполните ли вы, пан, мою просьбу?

— Просьбу? Вы не можете иметь до меня просьб, а имеете право давать мне одни приказания. Для вас, панна, я готов на все!

— Протанцуйте со мной мазурку, — сказала Лидия, встав со скамьи и подавая Струсью свою хорошенькую ручку.

Струсь усмехнулся.

— Нет ли кого здесь? — спросил он, рассеянно осматриваясь.

— Никого нет, мы одни. Что же? Вы не хотите доставить мне удовольствие? Или, может быть, вы не так-то ловко танцуете? Признайтесь.

— Я неловко танцую! Вы это сейчас увидите. Позвольте только снять саблю.

Пан, взяв Лидию за руку, встал в молодецкую позицию, расправил усы, начал насвистывать мазурку, щелкнул каблуками, приотпнул, загремел шпорами — и пошел, и пошел! То перебрасывал он Лидию с руки на руку, то, обхватив ее стройный стан, кружил ее, приседая чуть не до полу, то бросался на колени, обводил танцующую Лидию около себя и, нежно глядя на нее, был вне себя. Пол дрожал от его топанья.

Сопровождавший пана трубач дожидался его в сенях. Услышав шум, он осторожно подошел к двери, немного растворил ее, высунул свое лицо и обомлел от удивления, увидев, с каким неистовством ротмистр, посланный для переговоров, выплясывал мазурку!

— Не помешался ли пан? — сказал он про

себя. — Что с ним случилось?

Струсь, увидев выпученные глаза, поднятые брови и разинутый рот трубача, вдруг остановился, недоделав самое отчаянное па.

— Что тебе надобно, Гржимайло? Откуда ты взялся? — спросил он с досадой.

— Это вы, пан?

— Конечно, я! Что за глупый вопрос? Убирайся к черту! Откуда ты мог здесь взяться?

— Как — откуда взяться! Я с вами приехал, пан, для переговоров.

— Дьявольская бомба! — закричал Струсь, ударив себя ладонью по лбу. — Совершенно забыл! Во всем этом виноваты вы, обворожительная панна. Слушай, Гржимайло! Если ты заикнешься, пикнешь в лагере о том, что ты здесь видел, то не быть тебе живому; я тебя изрублю!

— Слушаю, пан.

— Убирайся на свое место. Видите ли, панна, вы меня совсем с ума свели. Но вы устали, кажется, сядьте.

Он подвел Лидию к скамейке, взял потом свою саблю и надел на себя.

— Это, кажется, дом начальника крепо-

сти? — продолжал он.

— Так точно.

— Где же хозяин дома?

— Я уже сказала вам, что он не хочет вступать в переговоры.

— Не хочет!.. Он в этом раскается: скажите ему это от меня. Вы, кажется, сестра его?

— Да, сестра.

— Скажите ему, что мы возьмем крепость штурмом... что мы не оставим в Угличе камня на камне...

— Какой вы злой, пан.

— И это вы так спокойно слушаете?

— Я уверена, что вы не исполните вашей угрозы: вы так добры и любезны. Еще скажу вам, между нами, что крепость взять невозможно.

— Кто вам это сказал? Нет на свете крепости, которая бы против нас устояла.

— Мой брат говорит, что вы напрасно будете хлопотать около Углича.

— Увидим!.. Повторяю, что он раскается в своем упрямстве. Я уверен, впрочем, что он сам давно уже отчаялся в спасении крепости и притворяется спокойным, чтобы не устра-

шить вас.

— Быть не может. Он никогда не притворяется. Не стыдно ли вам, пан, так пугать меня?

— Вам опасаться нечего: я вас беру под свою защиту.

— Благодарю вас. Но, кажется, в вашей защите мне не будет нужды.

— Я возьму вас в плен, панна. К стыду моему, должен признаться, что вы уже прежде меня взяли в плен. Вы это, без сомнения, заметили, должны были заметить. Я увезу вас в Польшу, отведу вам в моем замке лучшие комнаты, буду слугою, рабом моей пленницы... буду угождать вам, веселить вас, исполнять все приказания, все прихоти ваши, и если сердце моей пленницы еще свободно, если мое нежное внимание успеет тронуть ее — я буду счастливейшим человеком в мире! Я холост, знатен, богат. Множество красавиц льстили надеждой завлечь меня в свои сети, но до сих пор сердце мое сохраняло независимость; до сих пор я жил только для войны и для славы. Пора успокоиться, пора подумать о семейном счастье. До свидания, моя прелестная пленница!

— Пока я еще свободна, а вы... мой пленник. Если я вам в самом деле нравлюсь, если вы точно хотите исполнять все мои желания, то докажите искренность всех уверений ваших исполнением моей первой просьбы.

— Приказывайте, повелевайте, панна.

— Отступите от Углича и уйдите от него подальше.

— Как мило вы шутить умеете, панна! Нет, нет, участь Углича решена: берем его штурмом, и вы — моя пленница! Скажите, однако же, начальник крепости решительно не хочет переговоров?

— Решительно не хочет.

— Хорошо! Прощаюсь с вами. Прошу вас ничего не опасаться: вы под моей защитой. Никто из наших не прикоснется и к краю вашего платья.

— Я уверена в этом, потому что вы не возьмете Углич.

— Позвольте, панна, мне оставить вам что-нибудь на память.

Струсь в это время вспомнил о фате и башмаке, которые он нашел в загородном доме, где Каганский назначил свою главную квар-

тиру. Ему пришла мысль: не Лидия ли потеряла эти вещи? Когда он пил из найденного башмака за здоровье неизвестной красавицы, которую он хотел непременно отыскать в Угличе, то в голове его составилась идеал красоты. Лидия так близко подошла к этому идеалу, что Струсь, вспомнив о фате и башмаке, тотчас решил: это она, непременно она! Желая увериться в справедливости блеснувшей мысли, он спросил Лидию:

— Не потеряли ли вы чего-нибудь за городом?

Лидия удивилась такому вопросу. Когда-то, гуляя по берегу Волги, она потеряла платок. Вспомнив об этом, она отвечала Струсю:

— Я потеряла платок.

— А еще что?

— Более ничего.

— Понимаю ваше смущение, понимаю, что стыдливость мешает вам признаться в потере еще кое-чего. Я нашел обе ваши вещи, предугадал по ним вашу чудесную красоту и дал себе слово отыскать вас здесь, в Угличе. Изрядно же мы вас перепугали; сознайтесь, что, услышав о нашем приближении, вы с ужасом

бежали из вашего загородного дома? Иначе вы не обронили бы той вещи, в потере которой вы стыдитесь признаться.

— Я не понимаю вас, пан.

— Не краснейте, панна! Вы не мужчина. Робость прилична красавицам. Вот ваши вещи. Я их всегда носил с собой, здесь, на груди моей. Вот ваш платок, вот башмачок с вашей прелестной ножки. Из этого башмачка я пил за ваше здоровье в виду целого лагеря, и тогда уже объявил себя наперед вашим пленником.

Лидия расхохоталась.

— Помилуйте, пан! Я потеряла полотняный платок прошлого года, а вы мне отдаете шелковую фату и башмак. Фату носят здесь одни женщины, а я еще, слава богу, на замужем. И башмаков, будьте уверены, я никогда еще не теряла. С чего это все пришло вам в голову?

— Стало быть, это недоразумение, — сказал Струсь, смутясь. — Впрочем, позвольте оставить вам на память мои обе находки. Не возражайте мне. Вы не принудите меня взять их назад. Они будут талисманом, который

предохранит вас от всякой опасности во время штурма. Если я вас вдруг не отыщу после взятия крепости, то покажите мой подарок кому хотите из наших воинов: вам все окажут такое же уважение, как королеве, и тотчас же проводят вас, в полной безопасности, ко мне. Но я уверен, что я первый отыщу вас. До свидания, несравненная панна!

Поцеловав руку Лидии, Струсь удалился.

— Что за сумасшедший! — сказала Лидия вполголоса, глядя ему вслед. Она улыбнулась и побежала в другую комнату.

— Поздравляю с женихом и с подарком! — сказала Евгения, смеясь и обнимая вбежавшую сестру.

У Иллариона и Феодосия были слезы на глазах... от хохота.

Наступило Вербное Воскресенье. Жители Углича, после обедни разойдясь по домам, готовились сесть за стол. Вдруг раздался звук колокола.

— Что это значит? — удивленно сказал Горюхов, находившийся в этот момент в доме Феодосия.

— Кажется, звонят на колокольне Преображенского собора, — заметил Илларион. — Не пойти ли нам на площадь?

— Звон в такое необычное время! — сказал Феодосий. — Надобно тотчас же узнать, что это такое?

Все трое пошли к собору. Евгения и Лидия хотели также идти с ними, но Феодосий не пустил их.

— Лучше вы похлопочите об обеде, — сказал он. — Мы сейчас вернемся, и вы все узнаете. Я вижу, что вы уже испугались. Всего вы боитесь!

На площади толпился народ. Все спешили войти в Преображенскую церковь и теснились у входа.

Феодосий с Илларионом и Горовым вошел в собор и увидел на амвоне, посреди церкви, монаха. Он стоял с опущенной головой, со сложенными на груди руками. Седая борода его лежала на груди.

— Кто этот чернец, откуда, зачем он собрал народ в церковь? — спрашивали все друг у друга шепотом.

— Этого старца я знаю, — сказал Горов Феодосию. — Он из Николина монастыря, который прозывается Песочным. Благочестивый старик! Ему уже лет восемьдесят от роду.

Старец поднял голову, окинул глазами народ, теснившийся в церкви, и сказал:

— Православные христиане! Сегодня в полночь молился я в уединении об избавлении города от врагов. Молился я долго и усердно. Слезы текли из глаз моих. И вдруг, стоя на коленях, пришел я в какое-то оцепенение. Мысли мои стали путаться, в глазах начало темнеть, как будто сон овладел мною, но я чувствовал, что не сплю. Сердце мое билось непонятным благоговением и ужасом. И увидел я пред собой прекрасного юношу в белой одежде.

— О чем плачешь ты? — спросил он меня. — Иди в Углич и извести жителей, что добрая пшеница уже созрела и вскоре собрана будет в небесную житницу.

Пораженный видением, я встал, оглянулся по сторонам, но юноша исчез. Я пришел, православные христиане, рассказать вам о моем видении. Забудьте вражду, очистите сердца, будьте готовы. Отсюда нет уже вам дороги в мир: один путь вам остается — путь из этого мира. Смерть со своими легионами окружила Углич. Не скорбите и не ужасайтесь. Не окружают ли легионы смерти всех жителей земли так же, как и город наш? Блаженны те, которые помнят час последний!.. Вооружитесь щитом веры, надежды и любви, — и вы навсегда спасетесь от смерти в область жизни.

Старец сошел с амвона и удалился из церкви. Речь его поразила слушателей. В глубоком унынии все разошлись по домам. В тот же день пронесся по городу слух, что старик, говоривший в церкви, возвратясь в келью, через несколько часов умер тихо и спокойно. Это известие еще больше изумило угличан. Всю Страстную неделю они готовились к

смерти.

Раздалось в храмах пение: "Христос воскрес!" и сердца при этих радостных, торжественных звуках вновь забились надеждой.

Феодосий не унывал и неусыпно заботился о защите крепости. Поляки стояли спокойно в лагере, изредка перестреливаясь с осажденными. Лед прошел по Волге, и воды ее начали постепенно возвышаться. С луговой стороны прибыл гонец, переехал реку ночью и впущен был в крепость через подземный ход. Он привез известие, что несколько полков, преданных царю Василию, собрались около Ярославля и спешат к Угличу.

Все радовались, поздравляя друг друга.

Наступила ночь. Все жители спали. Вдруг, около полуночи, раздался набат. Феодосий в это время обходил с Илларионом крепостные стены. Сотник Иванов прибежал к ним, запыхавшись.

— Измена! — кричал он. — Пятьсот стрельцов подались на сторону ляхов и впустили их в крепость.

— К оружию! К оружию, братья! — закричал Феодосий, выхватив саблю. — Бейте тре-

вогу, собирайтесь все на площадь, становитесь в ряды: там встретим врагов! А ты, Илларион, беги в дом наш и приведи скорее Евгению и Лидию на Преображенскую колокольню: там они будут в безопасности от выстрелов. Я окружу колокольню рядами самых храбрых стрельцов. Не уходи от бедных сестер, ободряй их, скажи, уверь, что они будут спасены. Возьми с собою несколько стрельцов и поставь их к пушке, которую я недавно велел поднять на колокольню. Прощай, Илларион!

Жители Углича, разбуженные стрельбой, набатом, криками сражающихся, вскочили в ужасе, хватали оружие и выбегали из домов. Поляки, как истребительная лава, разливались по крепости. Поток остановился, встретив оплот на площади — твердый ряд стрельцов. Закипела жестокая битва.

Илларион успел провести Евгению и Лидию в верхний ярус колокольни. К ним присоединился Горов с огромной пищалью в руке.

— Наказанье Божье! — восклицал он горестно. — Не ад ли кипит под нами? Сердце

все изнылось от ужаса!

Пожар пылал в предместьях Углича. Уже и в крепости многие здания были охвачены огнем.

Евгения и Лидия, освещенные заревом, сидели на разостланной епанче Иллариона, прислонившись к стене. Бледные, молчаливые, они смотрели то на Иллариона, то на Горова, как будто прося защитить их. По временам Лидия, опуская лицо в ладони, рыдала. Евгения была тверже и спокойнее. Илларион старался ободрить и утешить обеих.

Настало утро, а битва еще не прекращалась. С восходом солнца закипела она еще яростнее. Ряды стрельцов на площади заметно редели и колебались; вооруженные жители подкрепляли их.

Феодосий, видя малочисленность войска и усиливавшийся с каждой минутой натиск неприятеля, велел остаткам стрельцов и вооруженных жителей отступить и постепенно входить в Преображенский собор, на колокольню и в каменный дворец царевича Дмитрия.

— Это наши будут три крепости, — сказал

он. — Не сдадим их до последней крайности. Завалите двери бревнами и камнями!

Приказание его исполнили. Он сам взбежал на колокольню и наложил фитиль на орудие. Грянул выстрел. Стрельцы, изо всех окон колокольни выставив ружья, начали пальбу. Все здание задышало огнем и дымом. Из дворца царевича Димитрия с грохотом сыпался свинцовый дождь. На Преображенском соборе утреннее солнце ярко осветило золотой крест. В то же время изо всех окон выстрелы свили около храма венец из молний и дыма. Вся церковь сверкала, гремела и дымилась. Казалось, храм Божий вступил в бой за православную Россию.

Перекрестный, жестокий огонь, направленный из окон на паперть церкви, уничтожал усилия поляков выломать дверь храма. Они поставили наконец пушку на площади, направили на эту дверь и начали стрелять. Ядро за ядром, раздробляя железо и дерево, вырывали ряды из теснившегося в церкви народа.

Наконец дверь разлетелась, толпы врагов хлынули в церковь, и в доме молитвы разда-

лись яростные крики, началась сеча. Кровь лилась ручьями через церковный порог.

Во дворец царевича Димитрия также вломились враги. Оставалась одна колокольня. Вход в нее завален был с внутренней стороны камнями и обрубками бревен, с внешней горами убитых. Все усилия поляков обратились на эту грозную колокольню, которая, как непобедимый великан, стояла посреди врагов, сея смерть в их рядах.

— Огня, огня! — раздалось в рядах неприятеля. — Зажжем колокольню!

Феодосий услышал эти крики. От орудия, у которого стоял, взбежал он в верхний ярус, где находились Евгения и Лидия.

— Нас скоро убьют? — закричала Лидия, ломая руки. — Ах, поскорей бы нас убили! Не правда ли, Феодосий, все уже погибло, и нам спастись невозможно?

— Нет, Лидия, я спасу вас. Ободришь, Евгения! Пока не взята колокольня, мы еще не побеждены.

Он подошел к окну и взглянул на Волгу. В это время вдали появились русские знамена. Полки от Ярославля спешили на помощь Уг-

личу.

— Слава Богу! — воскликнул Феодосий, указывая вдаль. — Помощь!

— Слава тебе, Создатель! — закричал Горов и бросился на колени.

— Пойдем, Евгения, пойдем скорее, Лидия! — продолжал Феодосий. — Я вас проведу на берег Волги. Вы переедете реку, Илларион укроет вас в безопасном месте.

— Куда идти нам? — спросила Евгения. — Нам, кажется, один остался свободный путь... туда!

Она указала на небо.

— За мной, за мной! — вскричал Феодосий. — Время дорого.

Он повел их вниз, по лестнице. Проходя мимо пушки, Феодосий сказал сотнику Иванову, который заряжал ее, и стрельцам, стрелявшим в окна:

— Я сейчас буду к вам, друзья! Не унывайте! Отстаивайте колокольню. К нам идет помощь.

Он спустился до самого основания колокольни, поднял потайную дверь, зажег факел и вошел в подземный ход. Евгения и Лидия,

поддерживаемые Илларионом и Горовым, последовали за ним. Долго шли они по узкому ходу, под низким, остроконечным сводом, и приблизились, наконец, к железной решетчатой двери. Сквозь нее видны были густые кустарники, а за ними мелькали струя Волги.

Он отпер дверь и подвел всех к небольшой лодке, скрытой под нависшими над водой кустарниками.

— Садитесь и плывите с Богом! — сказал он. — Прощайте! Прощай, Евгения!.. Прощай, Лидия!.. Илларион, поручаю их тебе.

Смертельная бледность покрыла лицо Евгении.

— А ты... не едешь с нами? — спросила она, задыхаясь.

— Я должен, я обязан воротиться. Без меня, может быть, не отстоять колокольни. Я велел товарищам моим ее отстаивать до последней крайности, пока не подоспеет помощь. Что скажет мне совесть, если я не возвращусь к ним по обещанию, и они одни погибнут? Нет! Я разделю судьбу их. Там, вместе с ними, найду смерть или победу. Вспомни, что все кругом во власти поляков. На одной колокольне

сражаются еще русские за свою независимость, за царя своего. Прощай, Евгения!

— Возьми и меня с собой! — вскричала она в беспмятстве, бросаясь в объятия Феодосия. — Без тебя что мне в жизни! О, если бы ты знал, как я люблю тебя, Феодосий! Нет! Полно уже мне скрываться! Полно себя обманывать! Спасайся с нами, Феодосий, или сжался надо мной! Возьми меня с собой!

Феодосий затрепетал и прижал Евгению к сердцу. Лидия рыдала. Пораженный Илларион стоял, бледный и неподвижный, едва переводя дыхание. Горов вздыхал, смотрел на всех попеременно и утирал рукавом слезы.

— Что ты сказала, Евгения? — проговорил дрожащим голосом Феодосий. — Вспомни, что ты невеста моего брата. Ты убьешь его! Нет, нет, я иду! Прощай!

Буря кипела в сердце Иллариона. Он не понимал, не чувствовал себя, как оглушенный громом. Вдруг, собрав все силы души, он подошел к Евгении, взял ее ласково за руку и сказал:

— Я не виню тебя, моя милая! Сердцем владеть невозможно. Возвращаю тебе клятву

твою. Будь счастлива с Феодосием! Брат, любезный брат! Люби ее!..

Слезы прервали его голос.

— Прости меня, Илларион! — вскричала Евгения, бросаясь к его ногам.

— Встань, встань, Евгения! — сказал Илларион, поднимая ее. — Я не виню тебя... Позволь, брат, мне вместо тебя идти на колокольню.

Он подошел к двери.

— Нет, Илларион! Ни за что!.. — воскликнул Феодосий, схватив его за руку. — Время проходит. Может быть, там, без меня, гибнут мои товарищи. И там... и здесь!.. — продолжал он, взглянув на Евгению, которая лежала без чувств в объятиях Лидии. — О! Как рвется мое сердце! На битву! На битву! Прощайте!.. Прощай, моя Евгения!

Он поцеловал ее, побежал и захлопнул за собой железную дверь.

Евгения была в обмороке. Илларион и Горюх внесли ее в лодку и посадили подле Лидии. Она обняла сестру и положила ее голову на плечо свое. Лодка поплыла.

Лидия несколько раз брызнула водой в ли-

цо Евгении. Она открыла томные глаза, и первый взгляд ее устремился на колокольню. Та по-прежнему дымилась и горела. Между тем, собор Преображенский и дворец царевича Димитрия, зажженные врагами, пылали. Пожар быстро разливался по всему Угличу.

— Загорается! Загорается! — вскричал через несколько минут Горов, всплеснув руками, и указал на колокольню. — Боже мой! — прибавил он вполголоса, увидев, что из окна колокольни Феодосий, направлявший пушку, взглянул на Волгу, отыскал взором удаляющуюся лодку, снял с черных кудрей своих бархатную шапку и махал ею в знак последнего прощания. Вскоре грянул залп, белое облако порохового дыма скрыло всю колокольню. Когда оно пронеслось, то пламя уже охватило ее деревянные лестницы и стропила. Выстрелы с нее редели и вскоре замолкли. Из всех окон и с ее вершины клубился густой, черный дым и вылетало струями пламя.

Евгения не спускала глаз с колокольни.

— Он погиб, Лидия! — сказала она трепетным голосом и, закрыв лицо руками, приникла к плечу сестры.

В это время раздалось несколько ружейных выстрелов с берега. Евгения вдруг вскрикнула, встрепенувшись, и застонала.

— Боже мой! Кровь! — воскликнула отчаянным голосом Лидия. — Сестрица моя! Тебя ранили?

Ответа не было.

Держа сестру в объятиях, она тихо положила ее поникшую голову на свои колени, устремила взор на ее неподвижные глаза и в оцепенении ждала, искала на лице ее признаки жизни. Напрасно!.. Лидия зарыдала. Слезы ее капали на тихое, спокойное лицо Евгении, покрытое смертельной бледностью.

Илларион пустил лодку по течению Волги, гребя изо всех сил. Он не понимал, что делает, не знал, куда спешит. В диких взглядах его ярко выразилось отчаяние.

— Утешьтесь, матушка! — сказал Горов Лидии, скрепя сердце и удерживая слезы. — Они оба теперь там, — продолжал он, указывая на небо. — Ей-Богу, матушка, там лучше, чем здесь!

Россия гибла, но Бог не судил ей погибнуть. Раздался в Нижнем Новгороде голос

простого гражданина, и отозвались на него верные сыны отечества во всех концах государства. Запылала Москва! Запылали сердца русские!.. Воспряло знамя Пожарского, собралось войско — и победа полетела по следам его. Свергнув иго иноплеменников, Россия восстала и, свободная, избрала себе царя по сердцу. Памятен для русских день: двадцать первое февраля 1613 года. С этого дня началась новая жизнь нашего отечества.

Когда в Москве праздновали вступление на престол избранного царя Михаила, Горов встретил на Красной площади стрелецкого голову с молодой, прекрасной женой.

У стрельца была подвязана рука, раненная при отбитии Кремля у поляков.

Всмотревшись, Горов узнал эту чету и с радостными слезами бросился обнимать своего знакомца. Счастье отражалось яркими чертами в темно-голубых глазах стрельца и в прелестных, черных глазках молодой жены его.

Вероятно, и читатели узнали эту счастливую пару.

Примечания

Источник текста:

Масальский К. Стрельцы. Исторический роман — М., "Новая книга", 1996. — 608 с.

[^^^]